К 1100-летию преставления святителя Мефодия, архиепископа Моравского

Академик Е. Е. ГОЛУБИНСКИЙ

СВЯТЫЕ КОНСТАНТИН И МЕФОДИЙ — АПОСТОЛЫ СЛАВЯНСКИЕ

Опыт полного их жизнеописания

ОТ РЕДАКЦИИ

Жизнь и подвиги святых Кирилла и Мефодия — неиссякаемый источник для исследовательской мысли. Обширна отечественная литература, посвященная святым Первоучителям [1], однако полных научных жизнеописаний их не так уж много. Кроме сочинения Е. Е. Голубинского, укажем фундаментальное исследование профессора Киевской Духовной Академии А. Д. Воронова «Кирилл и Мефодий. Главнейшие источники для истории святых Кирилла и Мефодия» (Киев, 1877), продолжение — «Святые Кирилл и Мефодий — Первоучители славянские» (Киев, 1886) и труд профессора той же Академии И. И. Малышевского «Святые Кирилл и Мефодий, Первоучители славянские» (Киев, 1886).

Предлагаемое исследование Е. Е. Голубинского подготовлено к 1868 году — тысячелетию со дня блаженной кончины святого Кирилла. Это исследование среди названных занимает особенное место — оно уникально, поскольку является самым первым опытом в отечественной литературе подробного жизнеописания святых Первоучителей.

Предлагая читателям труд Е. Е. Голубинского, не упустим из виду, что в России с научным жизнеописанием святых Кирилла и Мефодия впервые познакомились в 1825 году: П. И. Кеппен на страницах своего журнала «Библиографические листки» опубликовал в русском переводе отрывки из исследования аббата Й. Добровского «Кирилл и Мефодий — учители словенские» [2]. Однако дело не обошлось без недоразумений. Известный попечитель Казанского учебного округа М. Л. Магницкий обвинил издателя в том, что он не правомочен был публиковать отрывки из сочинения аббата Й. Добровского, основанного на западных сказаниях о святых Первоучителях, которые отличны от церковнославянских четии — минейных житий. Назначенный церковный суд во главе с митрополитом Петербургским Серафимом признал довод П. И. Кеппена о том, что Четиими — Минеями Й. Добровский не мог пользоваться, «удовлетворительным» и оправдал издателя [3]. В том же году профессор Московского университета М. П. Погодин выпустил в свет полностью переведенный на русский язык труд аббата Й. Добровского.

Заметим, что на четии — минейные жития святых Кирилла и Мефодия не сразу обратили внимание наши ученые; их недооценивал даже такой знаток российских древностей, как граф Н. П. Румянцев [4].

Первым достодолжное внимание на церковнославянские жития святых Кирилла и Мефодия обратил в 1843 году протоиерей А. В. Горский. Его знаменитая статья «О святых Кирилле и Мефодии» [5] — открытие огромного значения. Кратко излагая труды и подвиги славянских Первоучителей, протоиерей А. В. Горский подкрепляет рассказ житий историческими известиями, хрониками; таким образом, почтенный автор доказывает современность церковнославянских житий святых Кирилла и Мефо-

дия, а значит, и важность их в ряду источников, касающихся подвигов святых Первоучителей. Статья протоиерея А. В. Горского предлагает совершенно определенный план и метод для изучения неоценимого сокровища — церковнославянских житий святых Кирилла и Мефодия.

Е. Е. Голубинский — ученик протоиерея А. В. Горского. Духовная целенаправленность учителя, выработанная им система исследования церковнославянских житий святых Первоучителей перешли в сочинение молодого бакалавра Московской Духовной Академии, в будущем даровитого академика.

С какой духовной радостью работал Е. Е. Голубинский над своим трудом, видно из строк его письма И. И. Срезневскому: «Что касается до нужды подобного такого полного жизнеописания Первоучителей, то, по моему искреннему и твердому убеждению, они принадлежат к тому высшему разряду наших славянских великих людей, которых иметь полное жизнеописание мы непременно должны и обязаны, т. е. я хочу сказать, что они принадлежат к такого рода нашим великим людям, что мы обязаны знать не одни только совершённые ими для нас дела, но ради этих последних, по причине их величайшего значения и важности, и всю вообще их жизнь» [6].

Труд Е. Е. Голубинского состоит из двух обширных частей: «Опыт полного жизнеописания святых Константина и Мефодия» и «Обзор источников и древних сказаний».

Предлагаемая читателям первая часть строится по методу исторической критики источника. Главная идея Е. Е. Голубинского заключается в следующем. Все источники, касающиеся трудов святых Первоучителей, разделяются на церковнославянские, греческие и западные. Церковнославянские жития — подробнее и подтверждаются историческими свидетельствами в большей степени, а значит, они главные, остальные — в лучшем случае второстепенны либо вовсе ложны. Церковнославянские, или так называемые Паннонские, жития для Е. Е. Голубинского являются своего рода мерой, по которой проверяются все другие сказания, таким образом, если греческое Житие святителя Климента Охридского разнится с церковнославянскими житиями святых Кирилла и Мефодия, то оно ложно. Но подобная историческая критика субъективна. Надо отдать должное Е. Е. Голубинскому, он этого и не скрывает. В рецензии на сочинение профессора А. Д. Воронова он пишет: «...Всякий знает, что критика сказаний о Константине и Мефодии есть нечто своеобразное. Здесь дело преимущественным образом основывается не на прямых и положительных данных, которых недостает, а на собственных всякого исследователя соображениях. Но соображения представляют собой вещь весьма субъективную: вполне убедительно для одного, ни малейше не убедительно для другого» [7]. Субъективный метод в исследовании вовсе еще не рационализм в церковной истории, как это закрепилось за Голубинским после выступления на его докторской защите «Истории Русской Церкви» профессора Московской Духовной Академии Н. И. Субботина [8].

Е. Е. Голубинский в своем сочинении защищает церковнославянские свидетельства ярко, самобытно, убедительно, но все же приходится сказать о своего рода крайности в его мысли. Например, как подметил еще И. И. Срезневский в рецензии на труд Е. Е. Голубинского, автор считает свидетельства Жития святителя Климента, епископа Охридского, ложными, и «ни в себе, ни в читателе он не хочет допустить никакой возможности защитить показания Жития епископа Климента, как важные или, по крайней мере, неумышленно неверные. Он ищет и, разумеется, отыскивает доказательства против Жития». Подобный подход к разрешению данного вопроса, по мнению И. И. Срезневского, «не может не вредить делу» [9]. Однако этот недостаток не помешал И. И. Срезневскому заключить, что сочинение Голубинского — «явление очень замечательное, как труд человека, хорошо знакомого с делом и им увлеченного, труд в своем роде полный, обнимающий весь круг избранной задачи, как труд, вызывающий других на подобные труды» [10]. За исследование о святых Кирилле и Мефодии Е. Е. Голубинский был удостоен Академией наук полной Уваровской премии. Но до сего дня труд Е. Е. Голубинского напечатан не был. Об этом факте неоднократно с сожалением упоминал известный филолог-славист академик И. В. Ягич [11].

Свою точку зрения на труды и подвиги святых Первоучителей Е. Е. Голубинский неоднократно высказывал в рецензиях на появлявшиеся в печати исследования. За отзыв на сочинение И. Платонова «Жизнь и подвиги Первоучителей славянских, святых Кирилла и Мефодия» [12] в 1868 году Голубинский был удостоен Академией наук золотой медали. В положительной рецензии на труд А. Д. Воронова «Кирилл и Мефодий. Главные источники для истории святых Кирилла и Мефодия», представленный на Уваровскую премию, Голубинский еще раз подчеркнул, что церковнославян-

ские жития являются достоверными и принадлежат «современникам и ученикам святых Кирилла и Мефодия»[13]. Заслуживают самого пристального внимания замечания Е. Е. Голубинского[14] на исследование академика В. И. Ламанского «Славянское Житие святого Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник»[15].

В. И. Ламанский — славянофил, его идея заключается в том, что Русь была крещена не во времена князя Владимира, а намного раньше — святыми Кириллом и Мефодием во время их так называемой Хазарской миссии, а стало быть, и Священное Писание было переведено ими не в Моравское путешествие (этот факт В. И. Ламанский считает басней), а к моменту «миссии святых Первоучителей на Русь» (по Ламанскому). Для русского человека подобная идея заманчива, и только. Всеми силами пытается Ламанский навязать эту мысль читателю. Для него уже церковнославянские жития не авторитет, потому что в них говорится противоположное его идее. Сочинение В. И. Ламанского парадоксально: то, что не свойственно славянофильскому образу мысли, становится у него самым желанным. Что защищает Ламанский и на чем строит свое исследование? На «Vita cum translationes S. Clementis» — так называемой «Итальянской легенде»[16], в которой каким-то неопределенным намеком говорится о подготовке перевода Священного Писания святыми Кириллом и Мефодием якобы к Хазарской миссии. Как ни странно, Ламанский сам удивляется этой неопределенности «Итальянской легенды»[17], однако он ей всеми силами хочет верить. То, что «Итальянская легенда» составлена в XIII—XIV вв., было в свое время доказано П. А. Лавровским в статье «Итальянская легенда»[18] по поводу сочинения иезуита Мартынова «La legende italique des S. S. Cyrille et Methode»[19]. И уж совсем неудачен выбор В. И. Ламанским найденного в начале XVIII в. бенедиктинцем Ансельмом Бандурием «Греческого сказания о крещении Руси»[20], где, не говоря о более частной путанице событий, святой Мефодий называется Афанасием.

Все заблуждения В. И. Ламанского разбиваются Е. Е. Голубинским со свойственной ему беспощадной деликатностью. Во всяком случае, читая замечания Голубинского, приходишь к убеждению, что свое «историческое здание» Ламанский строит из песка. Нет возможности привести в предисловии все возражения Е. Е. Голубинского — они даны нами лишь в общем виде.

Подводя итог, что можно сказать о взглядах академика Е. Е. Голубинского на труды и подвиги святых Первоучителей? Совершенно определенно, это взгляды православного историка Церкви. На докторском диспуте Е. Е. Голубинским были произнесены замечательные слова по поводу замечаний его оппонента профессора Н. И. Субботина: «Я только подготовил работу для будущих историков; я один из работников, за которым последует много других. Я не считаю своей книги настоящей историей; настоящей истории нет»[21]. Это высказывание могло бы послужить эпиграфом к исследованию «Константин и Мефодий — апостолы славянские».

Исследование Е. Е. Голубинского публикуется с сокращениями по рукописи Центрального Государственного Исторического архива СССР (ЦГИА), ф. 1628, оп. 1, д. 160. Примечания к тексту даны в новой редакции. В подготовке текста к публикации принимал участие профессор Ленинградской Духовной Академии протоиерей Владимир Сорокин.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *П. А. Ильинский.* Опыт систематической Кирилло-Мефодиевской библиографии. София, 1934; І. Огієнко. Костянтин Мефодій, їх життя та діяльність, ч. II. Варшава, 1928.

[2] «Библиографические листки, изд. П. И. Кеппеном», 1825, № 8.

[3] См. об этом подробнее в «Чтениях Общества истории и древностей Российских» (ЧОИДР) (1864, кн. 2, с. 142—161) и в биографии П. И. Кеппена, сост. Ф. П. Кеппеном (Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук (ОРЯС), 1911, т. 59, № 5).

[4] Н. П. Румянцев в письме к любителю и ценителю церковнославянского языка, министру народного просвещения адмиралу А. С. Шишкову писал: «...Защитите, пожалуйте, преполезные Библиографические Листы, издаваемые г. Кеппеном, от того гонения, которое поднял на них г. Магницкий. Ежели он в своем представлении успеет, какому же осуждению подвергнемся мы непременно за границей, когда ученые сведают, что у нас сочинение г. Добровского о Кирилле и Мефодии под запрещением единственно потому, что сей ученый и почтенный муж повествует обстоятельства жизни их не так, как описаны они в нашей Миней-Четьи. Охраните нас от такого позора...» (Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке, с объяснениями и примечаниями И. Срезневского. СПб, 1873, с. 231).

[5] См.: «Москвитянин», 1834, № 6, с. 406—434 и Кирилло-Мефодиевский юбилейный сборник, изд. М. П. Погодиным. М., 1865, с. 5—42.

[6] Письмо Е. Е. Голубинского И. И. Срезневскому от 5 декабря 1867 г. (ЦГИА, ф. 1628, оп. 1, д. 466, л. 7—8).

[7] Отчет о XXII присуждении премий графа Уварова. СПб, 1880, с. 159.

[8] Профессор Н. И. Субботин пришел к следующему заключению: «...К воздвигнутому цельному зданию истории Вы подходите с тяжелым молотом критики и ударами его пробуете каждый камень — годится ли он для настоящего здания...» (Докторский диспут в Московской Духовной Академии 16 декабря 1880 г.— «Православное обозрение», 1881, № 1, с. 158).

[9] *И. И. Срезневский.* Рецензия рукописного сочинения Голубинского «Святые Константин и Мефодий — апостолы славянские» (Отчет о XII присуждении премий графа Уварова. СПб., 1870, с. 230).

[10] Там же, с. 233.

[11] См., например, речь академика И. В. Ягича на юбилейном заседании Отделения русского языка и словесности Академии наук 5 апреля 1885 г. в честь тысячелетия преставления св. Мефодия (Сборник ОРЯС, т. 38. 1886, с. 59). Занятый подготовкой к изданию «Истории Русской Церкви», Е. Е. Голубинский обратился снова к своему труду о святых Первоучителях лишь в 1885 году. На торжественном заседании в МДА 6 апреля 1885 года им была прочитана речь «Святые Константин и Мефодий — Первоучители славянские» — краткие положения его обширного исследования («Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе», 1885, ч. 236, с. 160—228).

[12] См. сочинение И. И. Платонова в «Духовном вестнике». Харьков, 1862, № 6—8, рецензия Е. Е. Голубинского — в ЦГИА, ф. 1628, оп. 1, д. 377.

[13] Отчет о XXII присуждении премий графа Уварова. СПб., 1880, с. 159.

[14] См.: *Е. Е. Голубинский.* История Русской Церкви. Т. I. Изд. 2-е. М., 1904, с. 911—913 и «По поводу перестроя В. И. Ламанским истории деятельности Константина Философа, Первоучителя славянского» («Известия ОРЯС», 1907, т. 12, кн. 2, с. 368—380).

[15] «Журнал министерства народного просвещения» (ЖМНП), 1903—1904, и отдельно ПГр., 1915.

[16] См. русский перевод в Кирилло-Мефодиевском юбилейном сборнике, с. 327—342.

[17] *В. И. Ламанский.* Славянское Житие святого Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник. ПГр., 1915, с. 100—106.

[18] "Revue des Questiones historique 71 e livraison, 1. Juillet", Paris, 1884, p. 110—166.

[19] ЖМНП, 1886, ч. 246, с. 17—59, 234—275.

[20] Русский перевод см.: *Е. Голубинский.* История Русской Церкви, т. I.— ЧОИДР, 1901, кн. 3, с. 247—252.

[21] «Православное обозрение», 1881, № 1, с. 158.

Отечеством Константина и Мефодия была Македонская область Византийской империи, а именно: главный город области — известная Фессалоника, или Солунь. Что касается до их происхождения, то, говоря нашим языком, они принадлежали к высшему византийскому дворянству; их патрицианская фамилия была одною из самых знатных и богатых местных солунских фамилий, так что была хорошо известна не только во всей собственной провинции или губернии, но и в столице, при дворе императора[1]. Имя отцу Константина и Мефодия было Лев[2]. Он служил в армии и был друнгарием, по-нашему, начальником полка, в корпусе войск солунского военного округа. Всех детей было рождено им семь человек.

Между нашими двумя братьями старший был Мефодий. Поэтому с него мы начнем и передачу биографических сведений. Которым был Мефодий в числе всех детей друнгария Льва, неизвестно. Неизвестен также и год его рождения; мы могли бы определить этот последний, если бы знали, насколько Мефодий был старше Константина, но этого нигде не сказано; приблизительно год его рождения должен быть относим ко второму десятилетию IX века. У биографа находим некоторые сведения о его детстве. Когда начал подрастать, он оказался из числа тех детей, которые составляют счастье и гордость родителей: из него выходил юноша с красивой наружностью, крепким и здоровым телом, живым характером, с острым и вместе серьезным умом. Отец-солдат и сына прочил к военной службе; а поэтому, нет сомнения, он искренне радовался, когда видел, что крепкое сложение и цветущее здоровье юноши обещают из него хорошего воина. Но Мефодий еще более должен радовать отца своими душевными способностями: он так счастливо был наделен ими и они так рано начали обнаруживаться в нем, что от кружка старших, собиравшихся в доме отца, еще дитятею получил право быть слушателем их важных речей, а ставши юношею, стал уже и достойным их собеседником. Ничего не говорит нам биограф Мефодия о его учении и о его успехах в науках. По всей вероятности, ему и не было дано сколько-нибудь тщательного и в собственном смысле научного образования. В Константинополь его не отправляли, а в Солуни, как видно из Жития Константинова, не было учителя ни одной науки, следовательно, можно было выучиться только чтению и письму. Отец не позаботился дать сыну хорошего образования и не послал его в столицу, к тамошним учителям, без сомнения, потому, что военной службе, к которой был готовим последний, не требовалось слишком большой учености. Этот недостаток школьного образования Мефодий впоследствии восполнил прилежным чтением книг. Постоянно окруженный в доме отца генералами и офицерами, Мефодий, несмотря на свой отличный природный ум, конечно, и сам очень мало думал о книгах и со всей страстью мечтал о прелестях военного ремесла: знал ли он, кем он будет впоследствии?

В военную службу Мефодий, по всей вероятности, отдан был в самом раннем возрасте. Генерал-отец одел сына в солдатскую одежду и начал мало-помалу приучать к военному артикулу, может быть, только что вышел последний из детства. Службу в низших чинах Мефодий проходил примерным образом; он до того был усерден к исполнению своих обязанностей, что, по выражению его панегириста, «яко и крилат обреташеся»; как отличный офицер, он был любим всеми

своими начальниками. Мефодию приходилось быть в военных походах и сражениях, и он показал при этом опыты самой несомненной храбрости[3]. Но недолго пришлось ему пробыть в субалтернах; в очень молодых годах он назначен был императором на очень важное место, именно: в князья или воеводы славянские, то есть в военные и гражданские начальники одной области, заселенной славянами. Какую должно разуметь область славянскую, нигде не указано, но, по всей вероятности, это была прилежавшая с востока к городу Солуни область фракийско-македонских славян, живших по рекам Стримону (по-славянски Струм, ныне Карасу-Стримон) и Рунхину (впадавшей в Стримон или текшей неподалеку от нее и неизвестной в настоящее время) и называвшихся стримонскими и рунхийскими[4].

Очень может статься, что такому быстрому возвышению Мефодия отчасти содействовали чин и связи его отца, если только последний был тогда еще жив (для получения места воеводы стримонского очень много значила рекомендация стратига или генерал-губернатора солунского, под командою которого служил отец Мефодия); но в то же время нет никакого сомнения, что главным образом он обязан был этим самому себе, своим собственным отличным качествам. Пост, на который он был назначен, не мог быть занимаем каким-нибудь бесталанным благорожденным юношей, и если бы Мефодий был из числа последних, то для него выбрали бы почетную должность совсем иного рода. Биограф Мефодия говорит, что император назначил его на губернаторство славянское, узнав его «быстрость». Что разуметь под «быстростию»: быстроту ли ума или храбрость, не видно. Но во всяком случае начальник славянской области, во-первых, должен был обладать способностями хорошего правителя, чтобы уметь ладить с неспокойным народом, во-вторых, ему надлежало быть хорошим военным начальником, чтобы уметь подавлять то и дело повторявшиеся попытки восстаний. Нет сомнения, что Мефодий успел с отличной стороны заявить себя пред императором и в том, и в другом отношении. Когда и как это было, мы не знаем; очень может быть, что свои военные походы ему пришлось совершать под личным начальством императора и что именно тогда-то узнал его последний. Биограф Мефодия прибавляет, будто бы император после говорил: «Назначая Мефодия в князья славянские, я как будто предвидел, что он будет великим учителем славян и что ему нужно было узнать все их обычаи». Но после, когда Мефодий стал учителем славян, император был другой, а не тот, при котором он служил в мирских должностях. <...>

На воеводстве славянском Мефодий пробыл довольно много времени, приблизительно лет 8 или 10. Но призвала мужа его судьба, и из генерала Мефодий стал монахом. Как и отчего последовал такой огромный переворот в его жизни, к сожалению, мы ничего не можем сказать. Биограф говорит, что он оставил княжение и постригся в монахи, «многи молвы узре безчинны в житии сем»[5]. Но что такое эти «молвы многи»: обыкновенное ли в подобных случаях общее место или имеет какой-нибудь определенный смысл? Могло быть, что призвали Мефодия в монашество его природные наклонности, которые в годы юности, вследствие особой житейской обстановки, заглушены были иными мечтами и помыслами, но которые потом, в более зрелом возрасте, сказались со всей неудержимой силой. Подобные превращения

Святые равноапостольные Константин и Мефодий, учители словенские

Икона из собрания Ленинградской Духовной Академии

К статье акад. Е. Е. Голубинского «Свв. Константин и Мефодий — апостолы славянские», *сс. 94—155.*

Преподобный Иосиф Песнописец

Икона письма игумена Зинона (Троице-Сергиева Лавра)

к статье протоиерея Вл. Рыбакова «Святой Иосиф Песнописец», *с.* 286—306

генералов в монахи в то особой настроенности время были вовсе не редкость, и поступок Мефодия не представлял собой слишком необычного события. <...> Ища в монастыре не спокойного и теплого жития, а удаления от мира, лишений и трудов, он избрал для своего пребывания не какой-нибудь из богатых монастырей столицы и ее окрестностей, а один (неизвестный по имени) из пустынных монастырей, находившихся на лесистых склонах малоазийского Олимпа[6]. Настоящее имя Мефодия есть то, которое дано было ему при пострижении в монашество; но какое носил он имя до пострижения? Если бы мы знали это последнее, то, может быть, имели бы больше сведений о мирской его жизни. <...>

Недавно бывший генерал и правитель области начал с простого монастырского послушника и своей ревностью к трудам своего послушания и к подвигам, налагаемым обетами монашества, скоро стал приводить в удивление всю братию своего монастыря. Теперь-то, между прочим, было у Мефодия время восполнить недостаток первоначального воспитания, и он все свободное от прямых его обязанностей время отдал чтению книг.

Здесь мы подошли ко времени совокупной деятельности обоих братьев, поэтому мы должны пока оставить Мефодия, чтобы сообщить сведения о начальной жизни Константина.

С такими детьми, как Мефодий, друнгарий Лев давно был самым счастливым отцом. Но в седьмом и последнем из сыновей, нашем Константине, Бог почтил его старость новым великим счастием: этот последний его сын, будущий великий человек, рос необыкновенным дитятею. Еще с самого дня рождения он заставил своих родителей ждать от себя чего-то особенного. Для вскормления новорожденного мать взяла было кормилицу; но ребенок решительно не хотел брать чужой груди, так что мать, наконец, должна была кормить его сама. Конечно, не было в этом ничего чудесного и сверхъестественного, но любовь родителей крепко и поспешно верует; случай был очень редкий, и этого уже достаточно было для отца и матери, чтобы видеть в нем таинственное счастливое предзнаменование и предаться самым радостным надеждам. Очень могло случиться, что надежды и ожидания оказались бы напрасными и странное событие после вспоминалось бы с горечью, как пустая случайность, или просто было предано забвению, но отец и мать Константина были так счастливы, что знамение, созданное родительским воображением, оказалось истинным знамением.

Но мы до сих пор ничего не сказали о самих родителях Константина и Мефодия, что́ они были за люди, то есть достойны ли были они своего семейного счастья. Если требовательный читатель желает знать, как возвышенны были убеждения друнгария Льва, как глубоки его нравственные начала, то есть вообще желает обстоятельно знать в нем полного человека, а не одну или две внешние, часто очень обманчивые черты, то слишком неумеренны его желания. Древние жизнеописатели святых не заходили так далеко, и у них можно искать ответа только на один вопрос: благочестив или не благочестив был известный человек. <...>

В Житии Константина мы находим то же, что и в других житиях; об отце его говорится: «Был благоверен и праведен, сохраняя все заповеди Божии»[7]. На основании одних этих слишком неопределенных и в

данном случае слишком обычных житиям слов мы, конечно, не могли бы сказать ничего положительно о друнгарии Льве. Мы могли бы сказать: может быть, и действительно так, а может быть, нет, а вообще — совершенно неизвестно. Но, кроме общего отзыва, мы находим в Житии Константина некоторые частные указания на нрав его родителей; именно: биограф говорит, что Лев и жена его, родивши седьмого сына, совещались не сходиться более на супружеское ложе, и до самой смерти одного из них в продолжение четырнадцати лет жили как брат и сестра. Подобное свидетельство, конечно, далеко не дает еще нам права заверять, что родители Константина представляли из себя самые возвышенные личности, но, по крайней мере, мы имеем полное основание думать, что они были люди искренно набожные.

Возвращаемся к Константину. Когда начал он подрастать, отец и мать его, конечно, к величайшей своей радости, увидели, что не напрасны были те особенные ожидания, которые он возбудил в них, еще будучи в колыбели: году на пятом — на шестом он показывал необыкновенные умственные способности. Биограф Константина дает нам знать это, рассказывая один случай из его детской жизни. На восьмом году Константин видел сон: представлялось ему, что стратиг солунский собрал к себе всех девиц своего города и велел ему — Константину выбрать из них себе невесту, и он выбрал ту, которая была всех красивее лицом и всех наряднее одета; имя выбранной девушки было София. Как привиделся Константину подобный сон, объяснить очень не трудно: стратиг и друнгарий были люди, конечно, очень короткие друг с другом; так когда-нибудь на семейной сходке мечтали и гадали они о будущем своих детей, и первый в шутку или серьезно что-нибудь подобное говорил отцу или самому Константину; слышанные речи и могли присниться дитяти. Но дело не в этом, а в том, как истолковали сон отец и мать Константина, когда он рассказал его последним. Рассказ обратил мысли их совсем не к тому, к чему бы следовало ожидать, то есть не к мечтам о действительных будущих невестах сына, а о невесте особого рода. В сновидении внимание их остановилось на том обстоятельстве, что имя невесты София, и они поняли дело так, что сон пророчит о будущем духовном супружестве их сына с премудростию (греческое «софия» по-русски значит «премудрость»). <...> При этом последнем имени сновидение, сначала заставившее родителей смеяться, вдруг получило в их глазах серьезный смысл: мудрое дитя видело во сне невесту, имя которой значит «премудрость», и они тотчас же подумали: действительно, сын наш, ты видел свою истинную невесту. Наставляя сына по поводу сновидения, которое принято было как знамение свыше, отец говорил ему: «Сыне, храни закон отца твоего и не отверзи наказания матери твоея; рцы же премудрости: сестра ми буди, а мудрость знаему себе сотвори: сиает бо премудрость паче солнца, и аще привидению себе имети подружие, то от многа зла избавитися ею»[8].

Иной из читателей, может быть, станет объяснять себе дело проще нашего, то есть предпочтет видеть в рассказе о сновидении позднейший вымысел. Но такой скептицизм в данном случае, то есть относительно Жития Константинова, которое служит нам источником, совершенно неоснователен. Другие подробности, которые сообщает Житие о детстве и юношеских годах Константина и которые заподозривать мы не имеем ни малейшего основания, самым несомненным образом убеждают

нас, что автор Жития получил свои сведения о первом, не известном ему непосредственно периоде жизни Константина не от кого иного, как от Мефодия. Всё поведение Мефодия по отношению к Константину ясно показывает, что он глубоко благоговел пред своим великим братом; а поэтому нет сомнения, что и при жизни, а в особенности после смерти брата, он часто рассказывал общим их обоих ученикам о тех годах жизни Константина, которые были неизвестны последним; после смерти Константина это воспоминание о нем должно было служить для Мефодия лучшим облегчением от чувства тяжкой утраты. Останавливаясь на времени детства Константинова, Мефодий, как само собою понятно, заботливо припоминал и с наслаждением рассказывал о тех событиях, которые пророчили семейству, что младший его член будет необыкновенный человек; но чтобы он захотел пополнять историю детства Константинова из собственного воображения, это решительно никоим образом не мыслимо.

На восьмом или девятом году Константин отдан был в школу учиться начальным наукам, то есть чтению и письму, начаткам христианского вероучения и т. д. Этот первый опыт учения показал, что отец и мать Константина не обманывались и не прельщались, когда находили у него необыкновенные способности: он так быстро учился тому, чему его учили, и так опережал своих товарищей, что приводил всех в величайшее удивление и казался между своими сверстниками чудом и феноменом; будущий отличный языковед, между прочим, отличался необыкновенною памятью. Выучившись грамоте, Константин со всем жаром жаждущих знания детей предался чтению книг. У детей, как и у взрослых, бывают свои любимые авторы. Любимым автором Константина был Григорий Богослов; до того он увлек собою нашего юного книжника, что последний учил места из него наизусть и в детском восторге от него написал ему на стене своей комнаты маленький панегирик. Мы полагаем, что Константин начал свое знакомство с сочинениями Григория Богослова с собрания его стихов. Этот отдел сочинений Григория более, чем другие, доступен детскому пониманию и более должен был соответствовать детскому вкусу, а то обстоятельство, что места из него Константин заучивал на память, также всего более, конечно, указывает на произведения стихотворные. Кто читал стихи Григория Богослова, тем известно, что это суть не что иное, как излияние постоянно разочарованной жизнью души. <...>

В подобных случаях любовь к тихой созерцательной жизни вдали от людского муравейника, мысль, что земная забота людей суть суета сует, пробуждаются в нем со всею силою и живостью и потому служат основными мотивами стихотворений, которыми он утешал свою скорбную душу. Все это мы говорим к тому, что, по нашему мнению, Григорий был любимым автором Константина не вследствие какой-нибудь простой случайности. Дитя, разумеется, не было разочаровано в жизни и не утрачивало веры в людей, но его природные наклонности были в некоторых отношениях совершенно в лад с настроенностью поэта. Мало расположенный обращаться в шумном обществе товарищей и жить его радостями, горестями, находивший величайшее удовольствие проводить свое время наедине с самим собою, Константин должен был со всем сочувствием своего детского сердца относиться к речам того автора, который ублажает тихое уединение, зовет читателя искать счастия в

пустыне в обществе своих мыслей и природы, и автор этот должен был стать его любимым автором.

Чем более вырастал Константин, тем решительнее сказывались его наклонности как будущего любителя аскетического и ученого затворничества. Однажды Константин вместе с другими детьми солунской знати пошел на ястребиную охоту. Но вместо удовольствий, которых он ждал, охота кончилась для него несчастьем: когда он спустил своего ястреба, поднявшийся страшный ветер сбил птицу с круга и угнал так далеко, что она более не возвращалась к своему хозяину. Это приключение, как и само собою понятно, повергло Константина в страшное горе, он два дня не садился за стол и ничего не хотел есть. Далее следовало бы ожидать, что отец купит или даст сыну новую птицу, последний утешится, и все пойдет по-старому. Но для героя нашего при его известных наклонностях случай этот не остался бесследным случаем, напротив, он послужил одним из ускоряющих толчков к окончательному формированию в нем его природных наклонностей: когда горе прошло, Константин, и прежде мало чувствовавший в себе влечения к играм и забавам сверстников, после описанного случая вдруг почувствовал к ним полную холодность, все менее и менее выходя из дому, но все более и более пристращался к своим книгам.

Когда Константину минуло четырнадцать лет, семью его постигло несчастье, именно — умер отец. Старшие дети Льва все уже были выращены и пристроены, настоящим сиротой он покидал на руки жене одного, самого младшего сына; но тем не менее смерть мужа для последней, как для матери, была крайне тяжким горем. Младший сын был самым любимым детищем родителей; его способности и характер заставляли их самым радостным образом думать о его будущем,— и вдруг приходилось ему дитятей остаться без отцовской опоры на произвол судьбы и своего счастья. Забывая самое себя, неутешно плакала жена умиравшего мужа над своим осиротевшим сыном. «Все я перенесу,— говорила она,— но дитя наше, как будет оно устроено?» Тяжко, конечно, было и для отца оставлять своего сына на женское попечение матери; но умиравшего крепко ободряло именно то, что особенно вызывало слезы у оставшейся жить: мать плакала над тем, что без отца ни за что пропадут прекрасные дарования сына, что Бог дал ему таланты, да не дал ему счастия; отец надеялся, что со своими прекрасными дарованиями сын его станет человеком и без отцовской опоры и помощи, он говорил жене: «Если Бог так щедро наделил нашего сына Своими дарами, то и в будущем не покинет его Своей милостию,— верь мне, Бог будет его отцом и попечителем». Будущее, действительно, оправдало надежды отца и осушило слезы матери.

Возвращаемся к книжным занятиям Константина. Мы сказали, что его любимым автором был Григорий Богослов. Все шло хорошо, пока наш юноша читал и учил на память стихи и другие, более легкие произведения этого писателя (по всей вероятности, по указанию и под руководством отца), но когда он, перечитавши все более легкое, перешел к таким сочинениям, которых главное содержание — трудные истины богословско-догматические, в которых автор рассуждает научными силлогизмами и в которых, наконец, речь нередко касается фактов исторических, предметов естествоведения, языческой мифологии и т. д., вообще к таким сочинениям, для чтения которых требуется не детский

ум, а научное образование, то должен был неожиданно остановиться: он не в состоянии был понимать своего любимого автора. Увидевши себя в таком безвыходном положении, созданный для книг юноша пришел в глубокое уныние. Наконец, к своей великой радости, он узнал, что есть средство помочь его беде и вообще дойти до возможностей понимать все мудреное в книгах, средство это — выучиться наукам. Страстно желал Константин учиться; но... горе должно было стать для него еще более горьким, когда, узнав о существовании наук, он вместе с тем должен был увидеть, что они для него недоступны: в Солуни не было учителей, которые бы могли учить наукам. Не для всякой женщины понятно, как можно убиваться печалью от невозможности учиться наукам, а потому очень вероятно, что мать Константина не могла настолько войти в его положение, чтобы вполне ему сочувствовать в его горе; но она горячо любила свое детище, а этого было для нее достаточно, чтобы для удовлетворения последнего делать все, что она могла делать. Не было между солунскими учителями по ремеслу ни одного такого, который знал науки, но решились попытать счастья — поискать, не найдется ли какого-нибудь просто образованного человека, который согласился бы давать уроки юноше. Попытка, действительно, удалась было, но как будто для того, чтобы возбудить в Константине страсть к учению до самой последней степени. Счастье только подразнило его. Учитель был найден. Это был какой-то заезжий в Солунь знаток грамматики, то есть словесных наук; но он оказался из числа тех, которые ни с кем ни за что не хотят делиться своей ученостью. Был ли это человек, которому решительно опротивело учительство по прежним опытам какой-нибудь возмутительной неблагодарности со стороны учеников и т. п., пришел ли он больным умом к убеждению в бесполезности или вреде науки, одержим ли был мизантропией, или просто заражен нескладной эксцентричностью, как бы все это ни было, только на все жаркие просьбы и мольбы юноши он решительно отвечал: «Отроче, не тружайся: отреклся есмь отнудь никого не научити сему в моя дни» [9]. Константин предлагал ему (конечно, с согласия матери и опекунов) из своей части отцовского наследства самую щедрую плату за учение, какую только он пожелает, но упрямый обладатель знаний не поддался и на это. Таким образом, нашему герою приходилось еще некоторое время переживать состояние мучительной неизвестности: найдет ли он себе учителей? На этот раз вслед за горьким разочарованием ждало его самое полное, какого он только мог желать, удовлетворение.

Старший брат Константина Мефодий служил в военной службе; там же, конечно, вслед за отцом служили и другие старшие сыновья Льва, если только они были. Таким образом, по общему семейному примеру естественною дорогою к житейскому счастью и для Константина была военная служба. В его лета старшие его братья, если не состояли еще на действительной службе, то по крайней мере были уже записаны в полках; но последнему в семье не суждено было стать последним ее представителем на родовом общественном поприще. Наклонности и характер юноши, совершенно ясно обозначившиеся, так решительно были против военной службы, что мать и все родственники с сожалением или без сожаления должны были покинуть всякую мысль о ней: вовсе не смотревший воином юноша страстно желал учиться и не хотел ни о чем более слышать. Так, мысли и заботы матери и род-

ных волей или неволей должны были стремиться вслед за мыслями самого Константина к училищам и учителям. На этой последней дороге после нескольких горестных неудач, как мы сказали, счастье вдруг оборотилось к ним всем своим лицом. Именно, не нашедши себе учителей в Солуни, Константин вдруг получил возможность слушать науки в Константинопольском дворцовом училище у самых лучших профессоров Греции: его взял к себе на воспитание государственный канцлер Феоктист, один из опекунов[10] тогдашнего малолетнего императора Михаила III, с тем, чтобы он учился вместе с этим последним. Как случилось, что Константин попал во дворец, неизвестно; биограф его говорит, что императорский опекун послал за ним, дабы учился с царем, услышав об его красоте, мудрости и прилежном учении. Вдова друнгария Льва имела знакомых между придворными и по мужу сама была известна при дворе, следовательно, имела возможность хлопотать, чтобы сын ее был принят в дворцовое училище. А сиротство последнего давало ему преимущественные пред другими права на казенное образование; таким-то образом и могло Константину выпасть счастье быть допущенным к слушанию придворных учителей. Остальным, по всей вероятности, он действительно был обязан самому себе[11]. Своими отличными способностями, своею горячей страстью к учению, своим прекрасным нравом и, в заключение, своею изящной наружностью Константин мог резко выдаваться между своими товарищами и, обратив на себя общее внимание во дворце, стать, наконец, известным и опекуну императорскому. Узнав юношу с самой лучшей стороны, опекун и мог взять его к себе, чтобы свести с малолетним императором. Константин далеко не был сверстником императору, напротив, был старше его 12 годами, так что, когда был взят к последнему, ему было около 17 или 18 лет, а тому около 4 или 5 лет. Из этого само собою понятно, что он не мог быть приставлен к императору затем, чтобы вместе с ним учиться. Конечно, он был сделан при императоре чем-нибудь вроде главного доверенного прислужника или пажа и, может быть, также должен был проходить с последним в качестве репетитора или тутора уроки начальной науки чтения. Счастье для Константина, что ему пришлось не очень долго наслаждаться завистным положением приближенного к императору; иначе ему пришлось бы быть невольным зрителей самых гнусных сцен и дел: известно, что Михаил III, едва только вышел из детства, показал себя человеком до последней степени возмутительно безнравственным.

Круг тогдашнего образования составляли так называемые семь свободных искусств, именно: грамматика, риторика и диалектика, под именем trivium'а, служившие предметами учения в низших классах, и арифметика, геометрия, музыка и астрономия, под именем quatrivium'а, представлявшие собою курс высших классов. Грамматику, с которой, по обыкновенному порядку, началось учение Константина, он прошел всего в три месяца. Такие быстрые успехи, с одной стороны, показывают страсть, с которою Константин принялся за учение, с другой — объясняются его особенной способностью и склонностью к языковедению: впоследствии, как мы увидим, он с необыкновенной легкостью изучил несколько иностранных языков и предпринимал филологические работы. После грамматики Константин постепенно прослушал все остальные науки. Между наставниками его двое были знаменитые люди:

первый из них был Лев Философ, человек, удивлявший в свое время обширной и глубокой ученостью не только соотечественников, но и иностранцев и славившийся в особенности как отличный знаток математики, астрономии и механики; второй был Фотий, впоследствии Константинопольский патриарх, учености которого, как известно, удивляются и по настоящее время; Фотий был очень важным государственным сановником, но, несмотря на это, не только не считал унизительною для себя профессию учителя, а напротив, в том, что видел себя окруженным толпами юношей, с которыми мог делиться своими многосторонними и глубокими сведениями, то есть в том, что мог быть учителем, полагал свое величайшее счастие. Время молодой жизни Константиновой было временем последней тяжбы иконоборчества и иконопочитания. Так как большинство тогдашних образованных людей было вообще против икон, то к числу врагов иконопочитания принадлежал и один из названных нами наставников Константина, именно — Лев. Образ мыслей учителя, как увидим, в этом отношении не имел влияния на ум ученика. Что касается до другого из наставников, Фотия, то он скоро почтил Константина самой искренней дружбой. Успехи нашего юноши в науках вообще были самые блистательные, но после филологии особенно любимой его наукой была философия, так что позднейшее его прозвание именем философа, по всей вероятности, ведет свое первое начало еще от школьной скамьи и было впервые дано ему наставниками и товарищами. <...>

Константин славился между своими товарищами как отличный знаток философии, и воспитатель его полюбопытствовал узнать, что за философ находится в стенах его дома. «А ну-ка, философ,— спрашивал раз он Константина,— скажи мне, что такое философия». У большого государственного сановника не могло быть времени и охоты много думать о философии, и вопрос был предложен, конечно, не с иной целью, как просто из любопытства видеть, что скажет юноша, которого все величают философом. Но Константин своею речью неожиданно увлек экзаменатора до такой степени, что он на самом деле пожелал поближе познакомиться с философией. После вопроса, предложенного в шутку, Константин имел с ним целый ряд серьезных философских бесед и, наконец, по его просьбе написал ему сжатое изложение названной науки [12]. Юношу, способного возбуждать интерес к наукам в стариках, воспитатель почтил своим уважением до такой степени, что во всем стал иметь своим постоянным советником. <...>

Быстро проходило время учения, и вместе с этим все скорее и скорее приближалась минута, когда Константину надлежало оставить дом своего благодетеля. Но крайне тяжела была для последнего мысль о разлуке с дорогим ему юношей, и он решился привязать его к себе узами родства. Не имея собственных дочерей, он хотел выдать за него свою крестную дочь. Придумавши такой план, она обратился к Константину с предложением: «Ты заставил крепко полюбить тебя; есть у меня девушка, которую воспринимал я от купели, она красавица собой, с очень богатым приданым и из самого знатного семейства — возьми ее за себя замуж; что касается до твоего положения, то я берусь устроить его наилучшим образом: при моем старании лет через пять — через шесть сделают тебя стратигом». Воспитатель Константина, может быть, не имел не только дочерей, но и сыновей, то есть был человек совер-

шенно бездетный; в таком случае для него особенно важно было, чтобы юноша согласился на его предложение, потому что посредством брака с крестницей он, без сомнения, хотел в нем приобресть себе сына. Очень трудно было ему и ожидать, чтобы мечты его навсегда удержать при себе его воспитанника в качестве действительного члена его семейства могли как-нибудь разрушиться. Условия предполагавшегося брака до того были блистательны, что от счастья у всякого закружилась бы голова. Если и возможно было по собственному выбору найти столько же хорошую и выгодную невесту, то предлагать с рукою невесты такую карьеру мог уже исключительно только опекун императорский; звание стратига соответствовало чину полного генерала и давало должность военного и гражданского начальника провинции, то есть, по-нынешнему, по-нашему, генерал-губернатора; Константину было предлагаемо это звание в каких-нибудь лет через пять — через шесть по выходе из школы, тогда как отец его не мог до него дослужиться во всю свою жизнь. Но у будущего апостола славян были иные мечты и помыслы; его призванием было служить обществу не на той дороге, которую пред ним открывали, и призвание так было в нем сильно, что он не в состоянии был изменить ему не из-за каких соблазнов и выгод. Константин был из числа тех людей, которые чувствуют неодолимую потребность посвятить себя исключительно внутренней жизни мысли, безраздельно отдать себя книгам и знанию и которые, будучи совершенно чужды всяких житейских расчетов и видов, питают решительное отвращение ко всяким обязательствам внешней жизни, так как эти последние так или иначе, много или мало могли бы требовать и забот, и времени. Итак, сколь ни блестяще было предложение, Константин твердо отказался от того, к чему не находил в себе никакого внутреннего призвания; искренне поблагодаривши своего благодетеля, он отвечал ему: «Предлагаемое тобой было бы слишком великим даром и счастьем для меня, если бы были у меня иные наклонности, но моя судьба иная — для меня нет ничего дороже учения, и я решительно ничем не хочу себя обязывать; там,— прибавил он, намекая на богатство, которое добровольно упускал из рук,— когда учением соберу разума, буду искать себе богатство нашего прадеда», то есть богатство Адамово, оставленное в раю.

Так покончил Константин с честолюбием и житейскими стремлениями, разрушивши мечты своего воспитателя; свой знаменитый подвиг самообладания он совершил году на 22-м или на 23-м своего возраста. По выходе из школы он, конечно, рассчитывал поселиться где-нибудь в уединении, чтобы вести образ жизни сообразно своим наклонностям и предаться своим любимым занятиям с полной свободой. Но люди, которых он заставил полюбить себя, так или иначе, но все-таки не хотели расставаться с ним; воспитатель его пошел во дворец и говорил императрице, матери малолетнего императора: «Мой юный философ не любит жизни, но по крайней мере так не отпустим его от себя: поставим его во священники и сделаем патриаршим библиотекарем в святой Софии». Если чем можно было удержать Константина, то уж, конечно, тем, чтобы предложить ему подобную должность: к книгам, и единственно к книгам и занятию ими, он сам стремился со всей страстью. И действительно, на этот раз расчеты воспитателя оказались совершенно верными: увидев возможность стать обладателем таких книжных

сокровищ, как патриаршая библиотека, Константин покинул мысль об уединении и согласился остаться в столице; перед поступлением на свою должность, как было решено, он холостым поставлен был во священники.

Следовало бы ожидать, что Константин очень долго пробудет на месте, которое так соответствовало его характеру; но вышло иначе: наложили ли на него вместе с должностью библиотекаря много иных и совсем иного рода обязанностей, или было что-нибудь другое, только нет сомнения, что, приставив к книгам, у него отняли возможность заниматься ими, и Константин тайно скрылся из столицы. В продолжение шести месяцев напрасны были все поиски за ним, предпринятые его бывшим воспитателем. Наконец, открыли его в одном из монастырей, находившихся на побережье Мраморного моря, и снова возвратили в столицу. Но Константин ни за что не хотел принять на себя прежней должности; так как не хотели пустить его в его прежнее уединение, то он согласился читать философию в том училище, в котором сам недавно учился. «Умолиша и,— говорит биограф,— учительный стол приняти и учити и тогоземца, и странныя» [13]. Под странными, или иностранными, по всей вероятности, должно разуметь крещеных македонских славян, между которыми знание греческого языка так же было распространено, как между солунскими греками знание языка славянского; биограф, может быть, именно с этого времени стал учеником Константина и, может быть, поэтому именно и сделал свое замечание о странных. Собственно об учебной деятельности Константина мы ничего не знаем, но из этого времени его жизни известны нам два случая: это — прение об иконах с бывшим Константинопольским патриархом Иоанном и путешествие для богословского спора к сарацинам. Иоанн, или, как в укоризну называли его православные, Анний, от рода занятий своих имевший прозвание грамматика, был знаменитый ученый своего времени, но вместе с большинством тогдашних образованных людей принадлежал к противникам иконопочитания. Он был наставником императора Феофила, и последний главным образом именно ему обязан был своею ненавистью к иконам. В патриархи возвел его бывший его ученик при своем восшествии на престол; он низложен был и послан в заключение вскоре после смерти Феофила при восстановлении иконопочитания. Хотя большинство общества давно привыкло менять догматы по предписанию правительства и приняло иконы, когда по смерти Феофила провозглашено было их почитание, но все-таки и партия иконоборцев осталась еще очень значительною; согнанный с престола патриарх, как само собой разумеется, был ее главою. Ненавистник икон до изуверского фанатизма по своим убеждениям (будучи в ссылке, он велел выколоть глаза одной иконе), самый ожесточенный враг их, в особенности после того, как лишился из-за них престола, Иоанн сильно должен был смущать православных, потому что пользовался авторитетом чрезвычайно умного и чрезвычайно ученого человека. Противники иконопочитания, указывая на своего вождя, могли говорить, что нельзя называть их слепыми, которых ведет слепой; многие из возвратившихся в Православие могли снова отпасть к своим прежним мнениям, видя, что такой человек, как бывший патриарх, не только не хочет принимать икон, но ратует против них со всевозможным ожесточением. Иконопочитание было восстановлено Собором именно после того, как

в происходивших на нем прениях православные успели победить своих противников; но так как Иоанн не был допущен на этот Собор, то он утверждал, что низвели его с престола и восстановили почитание икон посредством простого насилия, что будь ему позволено говорить, никто не в состоянии был бы победить его. По всему этому для правительства императорского в лице императрицы-матери, ревностно домогавшегося подавить иконоборство, весьма важно и желательно было нанести поражение противникам в само́м, слишком опасном их предводителе, уничтожив обаяние имени патриарха Иоанна и заградив ему уста. Решено было устроить с ним публичный диспут, и в оппоненты иконоборцу выбран был наш Константин. Отчего выбор пал на Константина? Все тогдашние немногочисленные представители учености, между которыми должно было искать противника Иоанну, собраны были в придворном училище; они были: ректор училища Лев Философ, Феодор, Теодегий, Комста и наш Константин. Лев далеко возвышался над четырьмя остальными: это были люди или еще очень молодые, или во всяком случае еще только начинающие свою ученую карьеру, напротив, тот был давно признанный ученый и с самой блистательной репутацией. Но выбор не мог пасть на Льва, потому что он был родной племянник Иоанна и если не открыто, то по крайней мере в душе такой же заклятый иконоборец, как и этот последний. Оставалось выбирать из остальных четырех; тут жребий пал на самого младшего, то есть на Константина, может быть, потому, что товарищи его не были специалистами в богословии, или, может быть, потому, что Константин действительно был почитаем лучшим и надежнейшим между всеми ими, а всего вероятнее, потому, что остальные трое, подобно ректору и своему бывшему учителю, не были сторонниками иконопочитания. <...> Какой опасный противник был патриарх Иоанн, мы говорили выше; таким образом, если были совершенно уверены, что в прениях с ним Константин не навлечет позора на свою сторону, то, оставляя нерешенным вопрос об его относительном положении между товарищами по службе, мы должны заключить, что безотносительно были до чрезвычайности высокого о нем мнения. Был знаменитый ученый вне придворного училища, статс-секретарь и сенатор Фотий; отчего ему не было предложено выступить против патриарха Иоанна?

Обращаемся к самому диспуту. Низложенный патриарх имел возраст глубокой старости; поэтому он слишком презрительно и высокомерно принял прибывшего к нему с депутацией свидетеля противника, когда увидел, что свидетель был почти безбородый юноша. «Ты и подметок моих не стоишь,— встретил он Константина,— так как же буду я с тобой спорить?» Но наш философ, будучи совершенно уверен в себе, нисколько не смутился и не растерялся от такого озадачивающего начала. «Не держись людского обычая,— ответил он человеку, который слыл за мудреца, но который поступал не как истинный мудрец, присвояя старости преимущество единственно ради самой старости,— не держись людского обычая, но помни Божии заповеди: если ты смотришь на свою седую бороду и свое старое тело, то твое старое тело точно так же из земли, а не из другого материала, как и мое молодое, и смотря на землю, нечего ею гордиться, а душа и у меня точно так же от Бога, как и у тебя». Не успев сбить юношу с толку на первых словах, старый искусник в диалектике неожиданно обратился в противополож-

ную сторону. «Осенью,— говорил он Константину,— не ищут цветов, и старика Нестора не гоняют на войну, как какого-нибудь юношу; как же тебе не стыдно требовать, чтобы я в моем дряхлом возрасте спорил с тобой?» Но молодой противник своим ответом и здесь взял над ним верх; он указал ему, что его вызывают на такого рода войну, в которой более имеют вероятности рассчитывать на победу старики, чем юноши. Что касается до споров, относившихся к самой сущности дела, то биограф Константина передает их слишком кратко. Во-первых, он представляет два главных и очень незначительных возражения со стороны оппонента Константинова, главное значение которых в том, что они рассчитаны были на ненаходчивость ответчика. Когда последний легко нашелся ответить на них, то, по словам биографа, возражатель спросил его: «Бог заповедал Моисею: не сотвори себе кумира и всякого подобия; как же вы кланяетесь иконам?» Константин отвечал на это: «Если бы сказано было: не сотвори себе никакого подобия, то ты вправе был бы ссылаться, но сказано: не сотвори всякого, то есть сотвори только достойное подобие». На это последнее противник будто бы не нашелся ничего возразить и, посрамленный, замолчал. Очень может быть, что противник и нашелся что-нибудь возразить, и во всяком случае нет сомнения, что спор был вовсе не так краток, как он представлен у биографа; с другой стороны, действительно не может подлежать сомнению, что Константин, заставив или не заставив замолчать противника, остался в споре победителем. Могли бы мы, пожалуй, не верить довольно голословному в этом случае показанию биографа, но это самым несомненным образом указывается тем, что вскоре после указанного нами спора ему было дано другое такого же рода поручение, несравненно более важное и трудное, это именно — поручение идти спорить с богословами мугаммеданскими. Не заяви себя Константин самым блистательным образом в предшествующем прении, на него никак не возложили бы такого дела, где речь шла о чести народа и народной веры.

Обращаемся к этому прению нашего философа с сарацинами. Последователи Мугаммеда в первое время, подобно тому, как и христиане иных времен и мест, не имели никакого понятия, что такое в деле религии путь разумного испытания и сила свободного убеждения. Зная одну «крепку веру» и поэтому ограничивая все дело своей проповеди простою передачей заповедей Корана посредством внешней силы принуждения, они вовсе не помышляли о том, чтобы сколько-нибудь научно противопоставлять свою религию другим религиям, как сознанную и доказанную систему догматов — другим системам. Но, познакомившись с греками, они скоро заимствовали у последних просвещение, и тогда появилась у них наука догматического и полемического богословия [14]. Ученым нападениям мугаммеданских богословов главным образом, разумеется, должна была подвергнуться религия христианская: она, во-первых, была сильнейшей из всех религий, которые последователям аравийского пророка пришлось встретить на своем пути; во-вторых, именно она хотела поражать другие религии путем разумных, научных доказательств и именно на нее нужно было обращать оружие этих доказательств. И вот в Сирии и в Палестине, где христиане подпали власти мугаммедан, первые непрестанно слышали от последних: докажите нам, как вы веруете в Бога не единого, а троичного, как признаете Богом Иисуса, рожденного от жены, почему кланяетесь иконам, кото-

рые суть идолы, и т. д.? Не довольствуясь такими противниками, которые по своему положению в христианском мире отвечали только за самих себя, богословы мугаммеданские иногда обращались со своими вызовами в Константинополь, к тамошним центральным представителям христианской религии и христианской богословской учености. Познакомившись с Аристотелем, арабы страстно принялись за изучение этого великого философа и, поняв его по-своему, выработали тот метод научного мышления, который по переходе от них к средневековым европейцам был известен под именем метода схоластического, или схоластики. То есть богословские, философские и всякие научные диспуты, которые господствовали в средневековых европейских школах, получили свое первое начало у арабов и были их величайшею страстью. Эта страсть к диспутам главным образом находила себе приложение в борьбе одних мугаммеданских религиозных сект с другими; но для знаменитых бойцов, разумеется, не могло быть меньшим удовольствием помериться силами с противниками, то есть такими противниками, как христианские константинопольские богословы. Таким образом, и в интересах религии, и по другим субъективным, но не менее сильным побуждениям богословские диспуты с константинопольскими учеными были для ученых мугаммеданских делом очень желательным. Вызов подобному-то прению и сделан был в то время, как Константин, возвращенный из его уединения, преподавал философию в придворном училище (именно в 851 г.). Мугаммедане прислали к грекам послов с такими речами: «Как вы, христиане, признаете одного Бога и в то же время разделяете Его на три и говорите, что это Бог Отец, Сын и Святой Дух? Если вы надеетесь ясно показать основательность своего учения, то пришлите к нам своих ученых мужей, которые, вступив с нами в прения, могли бы одержать над нами верх». Отказаться от подобного вызова, разумеется, было невозможно: если бы это и не значило признать себя побежденными, то, по крайней мере, именно так истолковали бы это противники. Конечно, греки могли бы требовать, чтобы диспут, если хотели его мугаммедане, имел место у них, в Константинополе; но посольство, как со всею вероятностью следует думать, было прислано не из какого-нибудь пограничного с империею мугаммеданского города и не от какого-нибудь из областных наместников или эмиров, а от самого багдадского калифа. Заявлять указанные требования этому последнему значило бы оскорбить гордость надменного владыки «правоверных», чего греки никак не могли желать, зная из множества горьких опытов его великое военное над собой превосходство и помня, в частности, свои поражения, понесенные незадолго перед тем временем [15]. Итак, во дворце императорском собран был совет для решения вопроса, на кого возложить трудное посольство, и выбор пал на нашего Константина. Решили послать именно его, как замечали мы выше, нет сомнения, главным образом потому, что свою способность к подобным поручениям он наилучшим образом доказал в недавно бывшем споре с патриархом Иоанном. Очень много нужно было мужества, чтобы согласиться на путешествие, не столько потому, что велика была ответственность, сопряженная с ним, сколько потому, что всего можно было ожидать от такого свирепого деспота и такого ненавистника христиан, как калиф Джафар Матаваккил [16]. Но Константин поставил целью своей жизни не самого себя, а именно самоотверженное служе-

ние обществу; отказавшись от всех прав на участие в благах и радостях этой жизни, он не находил иных побуждений бояться и самого крайнего, что могло с ним случиться, то есть мученической смерти, ибо принял поручение с совершеннейшей готовностью. «Рад — иду за христианскую веру,— отвечал он на вызов,— ибо что для меня слаще на этом свете того, чтобы жить и умереть за Святую Троицу?» Константину сопутствовал в качестве его помощника некто асинкрит (то есть секретарь) Георгий.

Когда Константин явился в столицу калифа, прежде всего пришлось вынести испытание его остроумию. Мутаваккил, желая предать иудеев и христиан всеобщему позору, между прочим приказал, чтобы на домах тех и других были повешены писаные или разные изображения демонов, обезьян и свиней [17]. Так будущие оппоненты Константина, указывая ему на изображения демонов, висевшие на домах христиан, с насмешкой спрашивали: что, по его мнению, значит, что одни дома отмечены таким образом от других? Константин дал им такой ответ, который должен был заставить их раскаиваться, что предложили вопрос. «Я вижу,— отвечал он,— на дверях домов изображения демонов и думаю, что внутри домов живут христиане: демоны не могли жить с ними, бежали от них вон; а там, где нет знамений снаружи, демоны живут внутри домов, вместе с обитателями последних». Что касается до самих прений Константина с мугаммеданскими учеными, и богословских и не богословских, то автор Жития, не имевший никакой о них записи, не дает о них подробного отчета, а сообщает только отрывочные сведения. «Видишь, философ, дивное чудо,— говорили Константину сарацинские богословы, желая показать ему превосходство мугаммеданства пред христианством,— божий пророк Мугаммед принес нам наше благовестие от Бога,— и все мы, сколь ни много людей обращено им, держимся одной веры, ни в чем ее не преступая, а вы, держащие закон Христа, вашего Пророка, один так, другой иначе,— как кому нравится, так и веруете». Сарацины говорили неправду; так же, как и у христиан, у них были свои еретические секты, только по мелочности вопросов, из-за которых возникали у них ереси, разделение не было у них так заметно, как у христиан. Но это последнее обстоятельство говорило вовсе не в пользу их Корана; оно показывало, что мелкое содержание Корана не дает места глубоким исследованиям. Константин предпочел ответить своим противникам несколько иначе, не указавши именно на эту разницу между их и нашим благовестием. Евангелие христианское, которого учение догматическое исполнено глубочайших таинств, а учение нравственное — величайших требований, он сравнил с морскою пучиною; Коран мугаммеданский, которого догматы не представляют глубины, недоступной обыкновенному человеческому разумению, и которого нравственные заповеди не более требовательны, чем собственное произволение каждого человека, он сравнил с мелким и узким ручьем. <...> «Так и надлежит быть, — говорил Константин,— чтобы в пучине морской совершались многие искания богатства (пусть припомнит читатель мнение древних, что на дне морских пучин лежат драгоценные камни) и вместе происходили жестокие кораблекрушения; но узкий ручей легко перескочить каждому: и взрослому, и ребенку». Что касается до прений о том главном вопросе, который был выставлен богословами мугаммеданскими в их вызове, то есть прений о дог-

мате троичности, то автор, хотя говорит о них слишком кратко, выставляя Константина победителем, но не сообщает при этом ничего особенно замечательного. После догматов мугаммедане нападали и на нравственное учение Евангелия, указывая на несообразную будто бы его требовательность. «В ваших евангельских книгах,— говорили они,— писано, чтобы молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим, подставлять щеку бьющему, а вы поступаете не так: обиды, которые бы вздумал наносить вам какой-нибудь другой народ, вы отражаете оружием». Константин ответил вопросом: когда есть в законе две заповеди, то который человек совершенно исполняет закон: тот ли, который хранит одну заповедь, или тот, который хранит обе? Получивши ответ, что последний, он продолжал: «Кроме указанных выше, в наших евангельских книгах есть еще другая: «Больша сеа любви не может никтоже явити на сем житии, но да положит свою душу за другы». Мы храним,— заключил он,— и первую заповедь, но когда поднимаем оружие против врагов, то исполняем предписание этой второй, чтобы в работе и плену у неприятелей вместе с телами не погибли и души наших братьев». От вопросов богословских противники Константина переходили к вопросам текущей политики, именно — к тогдашним взаимным отношениям между сарацинами и греками, думая укорять поведение последних тем же их Евангелием. «Вы говорите, что, защищаясь от врагов оружием, вы поступаете по заповедям Евангелия, что этим спасаете души ваших братьев; но ведь что причиной наших войн с вами? То, что великому и могущественному измаильскому народу вы не хотите платить следующей с вас дани. А между тем Христос ваш давал дань и за Себя, и за вас. Так лучше бы поступать вам по этому Его примеру и этим последним способом спасать души ваших братьев. Немного и просим мы,— прибавляли мугаммедане,— только одного златника, и за это мы держали бы с вами вечный, крепкий мир». В объяснение последних слов мугаммеданских ученых нужно сказать следующее. При императрице Ирине (780—803), вследствие несчастной войны с сарацинами, греки обязались платить им ежегодную дань; преемник Ирины — Никифор (803—811) попытался было отказаться от нее, но, жестоко пораженный калифом, известным Гаруном-аль-Рашидом, должен был снова платить ее, и притом самым унизительным образом: вместе с тридцатью тысячами золотых монет ежегодной головной дани за всю империю он обязался давать как эту же, знаменующую рабство дань по три золотых монеты за себя самого и по стольку же за своего сына. Так эту именно постыдную дань, от которой по смерти Гаруналь-Рашида грекам удалось избавиться, и разумеют противники Константина, когда говорят: «Немного и просим мы, только одного златника», то есть под одним златником они разумеют дань с головы императора; говоря: «одного златника», а не трех златников, они хотят сказать, что готовы теперь сделать грекам уступку. В речи мугаммедан звучали величайшее надмение и самая дерзкая насмешка, и Константин умел бы, если бы только мог, ответить им тою же монетой; к несчастью, для грека, не причастного слабости греческого хвастовства, не было никакой возможности оспаривать великое военное превосходство мугаммедан над своими соотечественниками. Константин постарался защитить честь своего отечества, по крайней мере, сколько можно было ее защитить. «Когда Христос жил на земле и платил дань,— отвечал он

своим противникам,— тогда владычество было не измаильское, а римское, а следовательно, и не должно зазирать нас, римлян, что мы не желаем платить дани другому народу», то есть Константин хотел сказать: не всегда было так, как теперь есть; теперь мы стараемся только о том, чтобы не платить дани другим народам, но было время, когда мы сами собирали дань с других народов, когда вас, измаильтян, не было еще и в помине, а мы, римляне, располагали судьбами вселенной. Принужденный с не совсем сладкой мыслью о своей родине уступить своим противникам в одном, Константин скоро вознаградил себя в другом. Мугаммеданские ученые, видя перед собой представителя греческой учености, как очень естественно, желали воспользоваться случаем, чтобы решить интересный для них вопрос: какое взаимное качественное отношение между тою и другою ученостью? Поэтому, вовсе не ограничиваясь прениями с Константином об этих вопросах, для которых он был вызван, они задали ему формальный экзамен по всем наукам. Когда наш философ во всем оказался далеко выше своих экзаменаторов, последние, будучи слишком большого о себе мнения, спрашивали его: как это ты все знаешь? Вот тут-то пришло время похвалиться Константину своей родиной. Арабы знали науки без году неделя; между тем греки были исконными их обладателями, у них они получили свое начало и все свое развитие; поэтому совершенно естественно было всякому порядочному греческому ученому быть далеко выше ученых арабских. На это и указал Константин в ответ на вопрос своих противников. «Один человек,— отвечал он,— доставши немного морской воды, носил ее везде с собою и всем говорил: «Посмотрите, вот вода, которой нет ни у кого, кроме меня». Но встретил он один раз жителя поморья; на его хвастанья этот сказал ему: «Не сошел ли ты с ума, что носишься, как с дивом каким, с бутылкой протухлой воды? У нас целое море этой твоей воды». Так-то и вы,— объяснял свою притчу Константин,— вы немного усвоили себе просвещение и думаете, что имеете право гордиться; но все науки заимствованы вами у нас». Противники Константина едва ли до того были высоких о себе понятий, чтобы над греческим представителем науки рассчитывали одержать блистательные победы по всем частям этой последней, но, с другой стороны, и мысль, что грек в сознании своего только превосходства над ними удалится от них с чувствами торжества за свою родину, никак не могла быть для них очень приятною. Униженные в одном, они находили, что имеют достаточно чем бы обуздать радость торжествующего противника; их великое государственное могущество — вот в чем грекам было далеко тягаться с ними, и они не преминули позаботиться, чтобы Константин увез с собой надлежащее представление об этом последнем. Могущественный повелитель «правоверных» обладал великолепнейшими дворцами и несметными сокровищами, и мугаммедане позаботились, чтобы все это видимо было Константином во всей подробности. «Не находит ли философ,— с гордостью говорили они последнему во время осмотра,— не находит ли, что великая сила и многое богатство амермуны (верховного повелителя, владыки сарацинского) должны возбуждать удивление?» — «Правда,— ответил Константин,— но хвала и слава принадлежит Богу, Который сотворил все это и дал на утешение людям». В заключение всего автор Жития неожиданно сообщает следующее: «Сетнее (наконец) же на свою ся злобу обращьше, даша ему

яд пити»[16]. Как понимать эти слова? Разумеется ли тут какая-нибудь грубая шутка со стороны мугаммедан, устроенная с целью испытать предусмотрительность Константина, или они в действительности хотели отравить его? Мы предполагаем скорее первое, чем последнее, потому что из предыдущих речей автора вовсе не видно, чтобы между Константином и его противниками произошло что-нибудь очень худое, а думать, что мугаммедане хотели отравить Константина ни с того, ни с сего, конечно, было бы уже чересчур. В глухих речах автора об этом событии можно заподозрить некоторый умысел, именно — можно предполагать, что, выражаясь слишком неопределенно, он хочет придать делу гораздо больше значения, нежели какое имело оно в действительности. Как бы то ни было, только, по словам автора, «Бог милостивый рекый: аще и смертно что испиете, не имать вас вредити, избави того (Константина) и на свою землю здрава возврати пакы»[19]. Это значит, что если хотели сыграть с Константином какую-нибудь грубую шутку, то он дался в обман, а если ему грозила действительная опасность отравления, то он успел принять какие-то меры к ее отвращению.

Возвратившись из путешествия, Константин некоторое время оставался на своей прежней должности, то есть на должности преподавателя философии в дворцовом училище. Но скоро он покинул и училище, и столицу и удалился в уединение. Что побудило его к этому, неизвестно. Можно думать, что одною из причин было несогласие в образе мыслей с товарищами по службе. Ректор училища, Лев Философ, как мы знаем, был противником иконопочитания. <...>

Неизвестно, как долго прожил Константин в своем уединении. Покинувши его, он переселился к брату своему Мефодию в его Олимпийский монастырь. Здесь он проводил время по-прежнему, то есть после трудов монастырской молитвы исключительно посвящал его своим книгам. Мы говорили выше, что и Мефодий после своего пострижения в монашество усердно предался чтению книг, желая этим восполнить недостаток своего первоначального образования. С переселением Константина на Олимп он должен был найти в младшем своем брате отличного руководителя и наставника не только в чтении книг, но и в настоящем изучении всех наук; очень может быть, что Константин перешел на Олимп именно по просьбе Мефодия, имевшего в виду поручить себя ему в ученики. В тихих ученых занятиях и трудах нравственного самовоспитания Константин провел лет восемь или девять. Но как ни любил он уединение, ему снова пришлось расставаться с ним, чтобы идти служить обществу: ровно через десять лет после рассказанного нами путешествия к сарацинам он должен был совершить точно такое же путешествие к народу, жившему за другой границей империи, именно — к хазарам.

Хазары, орда тюркского или турецко-татарского племени, перешли из Азии в Европу в середине VII века; местом их поселения были степи между низовьями Волги и Дона и правым берегом Кубани, то есть в землях войск Донского и Черноморского и губерниях Ставропольской и Астраханской. Хазары пришли в Европу язычниками, но через полтора столетия явились к ним проповедники новых вер, и вследствие этого поднялось у них религиозное движение. В конце VIII века в Греческой империи было воздвигнуто гонение на иудеев; это случилось вероятно, при императрице Ирине, которая, восстановив иконопочита-

ние, могла вооружиться на иудеев, как на ожесточенных его поносителей; убегая от преследований, иудеи нашли себе радушный прием у хазар. Водворившись в новом месте жительства, они немедленно принялись за проповедь и вели ее так удачно, что скоро увидели своими прозелитами кагана хазарского и большую часть его двора. Вслед за иудеями, а может быть, несколько раньше их явились между хазарами проповедники мугаммеданской веры, приходившие к ним из-за Кавказа, из Туркестана и из Персии. Эти последние имели особенный успех в народе. Наконец, были между хазарами проповедники и последователи и христианства, которое могло проникать к ним из пограничного с их землею Босфора Таврического и отчасти быть распространяемо нередко проживающими у них греческими пленниками. Между несколькими верами, из которых ни одна не имела решительного перевеса, естественно было завязаться самой жаркой борьбе; этому тем необходимее надлежало случиться, что каганы хазарские, подобно своим позднейшим родичам, нашим ханам монгольским, отличались самой полной веротерпимостью. Таким образом, между представителями разных вер должны были происходить у хазар самые горячие и постоянные споры. Как видно, эти споры не только были держимы в народе и для народа, но часто имели место и во дворце кагана, то есть, как видно, государи хазарские не только отличались совершенной веротерпимостью, но и питали особый интерес к богословию или по крайней мере были любителями богословских прений; в этом случае они опять сходились с ханами монгольскими, будучи, подобно этим последним, более или менее равнодушны ко всякой положительной догме. Устрояя в своем дворце богословские диспуты, каганы не могли не видеть, что не все спорящие стороны имеют одинаково сильных представителей: у мугаммедан были ученые муллы, у евреев — вооруженные книгами раввины, но малочисленные христиане не находили в своей среде достаточно сведущих и искусных ответчиков за свою веру. Очень естественно, что каганы желали быть свидетелями такого богословского боя, где силы всех противников были бы совершенно равны; а это желание само собою должно было приводить их к мысли обратиться с просьбой к грекам, чтобы последние прислали к ним своих ученых людей. Могло быть у каганов и так, само по себе, очень сильное желание послушать греческих ученых и посмотреть, чем окажутся пред ними ученые иудейские и мугаммеданские: хазары, как и все новые европейские и азиатские народы, громившие один за другим империи IV века, презирали греков как военных противников, но глубоко благоговели перед их цивилизацией и образованностью. Наконец, могли как-нибудь навести кагана на мысль о посольстве к грекам за учеными людьми и сами христиане; этим последним очень естественно было питать мечты и надежды, что греческим богословам удастся обратить кагана и его двор из иудейства в христианство. Как бы все это ни было, только в 860 году прибыли в Константинополь хазарские послы, которые просили, чтобы греки прислали ко двору кагана своих ученых мужей; посольство, вероятно, было прислано не исключительно для этой цели, а, имея своим главным порученнем какое-нибудь государственное дело, между прочим должно было просить и о присылке ученых. Что касается до того, что каган хазарский решился обратиться с подобной, довольно бесцеремонной и прихотливой просьбой к императору, то в этом нет ничего удивительного и не-

естественного. Он был такой сильный и столь нужный сосед греков, что мог требовать от них подобной услуги, нисколько не стесняясь; боясь каганов, как опасных врагов, и ища их союза, как хороших помощников против других врагов, императоры вообще оказывали им великий почет и даже иногда вступали с ними в родственные союзы.

В это время уже не было в живых бывшего воспитателя Константинова, который мог бы указать на него как на человека, вполне способного принять поручение; сам он так долго жил в удалении от двора и столицы, что уже давно бы пора было забыть о нем; несмотря на это, выбор императорских советников пал именно на него, и тотчас же после того, как были выслушаны речи хазарских послов, послали за ним в его монастырь. Нет сомнения, это случилось оттого, что при дворе не могло быть забыто десять лет тому назад совершенное им путешествие к сарацинам, что он успевал поддерживать свою прежнюю известность и славу и в своем монастырском уединении и что твердо помнил о его блистательных талантах бывший наставник и друг его Фотий, тогда уже патриарх Константинопольский. Предпринять странствование к хазарам было таким делом, на которое не всякий мог согласиться с полной охотой; переплывши Черное море, нужно было потом проехать от устья Кубани до низовьев Волги, на берегу которой была столица кагана,— более чем тысячу верст по таким дорогам, где была совершенно неизвестна колесная езда и где большую часть ночей приходилось проводить под открытым небом. Но Константин вызвался в путешествие с величайшею готовностью; искренний и глубокий ревнитель отеческой веры, он отвечал на сделанное ему предложение: «Рад идти без всего, пеший и босой, как велел Господь Своим ученикам». Устранив это последнее желание тем, что он идет не сам по себе, а от лица императора, его послали в сопровождении почетной свиты.

Вместе с Константином отправился в путешествие и Мефодий, став с этого времени постоянным помощником брата во всех его последующих трудах. Старший брат не хотел расставаться с младшим, но, как говорит один из биографов, «шед, служи, яко раб, меньшому брату, повинуяся ему»[20], то есть Мефодий, будучи исполнен вместе с горячей любовью чувством глубокого уважения к брату и дорожа его спокойствием более, чем своим собственным, хотел делить с ним неприятности пути и по возможности облегчать их для него своими о нем попечениями.

Морская дорога Константина лежала на Херсонес Таврический, или Корсунь; отсюда — подле восточного берега Крыма в пролив Керчь-эникольский и Азовское море. Достигнув Корсуни, Константин остановился в ней на довольно долгое время; главной причиной остановки должно было послужить то обстоятельство, что он прибыл в этот город в такое время, когда, во-первых, чрезвычайно было опасно дальнейшее плавание по Черному морю, а во-вторых, весьма затруднительно было бы путешествие по высадке на берег именно в конце осени. Пять или шесть месяцев, которые были свободными, Константин не остался без дела, но употребил их время наилучшим образом. Он изучил еврейский и самаританский языки и оказал большую услугу Церкви, открыв мощи святого Климента, епископа Римского. Еврейский язык был необходим для Константина в предстоящем путешествии, потому что главные противники, которые ожидали его при дворе государя хазарского,

были нуден со своим еврейским подлинным кодексом Священного Писания Ветхого Завета. Приступивши к изучению языка со всевозможным усердием, Константин при своей способности к языковедению овладел им, сколько можно было овладеть им в то время при совершенном отсутствии всяких научных пособий и средств к его изучению и при весьма плохих знаниях его самими еврейскими учеными, в очень непродолжительное время, при этом, отчасти побуждаемый желанием достигнуть в изучении языка возможно большей отчетливости и основательности, а отчасти, вероятно, также увлеченный новостью и новизной предмета, Константин попытался сделать опыт, доселе совершенно неведомый евреям,— грамматики их языка. (Опыт, без сомнения, был весьма далек от совершенств, но во всяком случае он весьма замечателен тем, что в своем роде был опыт самый первый и что Константин со своим замыслом написать грамматику еврейского языка предупредил таковые же замыслы самих еврейских ученых на целое столетие.)

На мысль изучить самаританский язык Константин наведен был случайным образом. Один из проживавших в Херсоне самарян ходил к нему для рассуждений и прений о вере, раз он пришел к нему со своими книгами. Константин, увидевши, что самаританский язык есть почти не что иное, как диалект еврейского, решился кстати изучить и его; он выпросил у самарянина книги и заперся с ними в своей квартире; когда через месяц или около того самарянин снова пришел к Константину, то, к своему величайшему удивлению, нашел, что последний может читать его книги совершенно свободно. Самого самарянина и его семейство Константин обратил в христианскую веру. В заключение приведенных выше известий о научных трудах Константина в Корсуни в биографии его читаем еще следующее: «Также нашел тут (в Корсуни) Константин Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами, и человека, который говорил тем языком; вступив в беседу с этим последним, Константин, через сравнение его речи со своею, разложил звуки его языка и выразил его в буквах гласных и согласных и, к удивлению всех, начал читать и говорить по-русски». Если бы сказано было только то, что Константин встретил в Корсуни русского и скоро начал свободно объясняться с ним, в этом не было бы ничего особенного: киевских и других, далее на юг живших русских, так как они имели торговые сношения с Грецией, легко было встретить и в Корсуни, и в Константинополе; язык славян русских весьма близок был к тому славянскому наречию, которое известно было Константину, именно — к болгарскому. И поэтому он действительно скоро мог бы совершенно свободно объясняться со своим незнакомцем. В этом случае некоторое затруднение представляло бы собой только слово «русский»; так как предки наши стали называться именем русских очень незадолго перед тем, как была писана биография Константинова, то автору последней едва ли еще могло бы это стать известно. Но и это затруднение, конечно, легко могло бы быть устранено, именно: ничего не было бы неестественного предположить, что у автора действительно стояло при имени корсунского незнакомца какое-нибудь племенное название, то есть славянин киевский, славянин тиверец, кривич и т. д., но что оно заменено было словом «русский» от переписчиков, так как последнее название вскоре после времени биографа Константинова совершенно вытеснило собой первое. Так, говорим, ничего не было бы странного, если бы

просто было сказано, что Константин встретился в Корсуни с русским и что скоро начал свободно говорить с ним на его языке, но ясно сказано, что он нашел в Корсуни русского и еще Евангелие и Псалтирь, переведенные на русский язык. Что же думать об известии в этом его виде: действительно ли не было сделано славянского перевода Библии или, по крайней мере, некоторых частей ее еще до времен Константина и Мефодия и действительно ли Константин не воспользовался прежде него совершенным трудом? Должно думать, что подобный перевод действительно мог существовать, но что во всяком случае Константин вовсе не обретал его в Корсуни. Известно, что южные и западные славяне начали принимать крещение не только отдельными лицами, но даже и целыми племенами еще задолго до наших Константина и Мефодия; известно далее, что крещеными славянами, также задолго до Константина и Мефодия, было усвоено искусство письмен, причем, не имея еще собственной азбуки, одни употребляли алфавит греческий, другие — латинский. Таким образом, при знакомстве крещеных славян с искусством письма была возможность являться у них попытке перевода Библии. Что касается до действительного осуществления этой возможности, то мы можем совершенно положительно утверждать, что не существовало такого перевода Библии или некоторых частей ее, который введен был в общее употребление у одного или нескольких славянских племен, но в то же время не имеем никакого права положительно утверждать, чтобы не было таких попыток перевода, которые оставались известными самим переводчикам и другим немногим определенным лицам. Этого последнего рода перевод Евангелия и Псалтири и мог бы Константин обрести в Корсуни, то есть встреченный им здесь крещеный русский или сам мог быть указанного рода переводчиком, или иметь в своих руках труд другого подобного переводчика. Но если, говорим, действительно Константин мог обрести в Корсуни славянский перевод Евангелия и Псалтири, то не подлежит, однако же, ни малейшему сомнению, что он вовсе не обретал его, то есть что приведенные слова Жития суть не что иное, как или чистая позднейшая вставка, или позднейшее искажение такого места, в котором говорилось вовсе не о русских Евангелии и Псалтири. Совершенно ясно видно это из того же самого Жития. Автор последнего, когда доходит в своем дальнейшем рассказе до посольства моравского и до перевода, предпринятого у них Константином, то самым положительным образом свидетельствует, что он ничего не знал ни о каком прежде него сделанном переводе и что свой труд изобретения азбуки и перевода совершил вполне самостоятельно; а следовательно, допустить, чтобы приведенное выше место Жития принадлежало одному и тому же лицу с этими, сейчас указанными свидетельствами, значит допустить нечто совершенно невозможное. Так, повторяем, вне всякого сомнения и спора, что у нашего автора Жития никоем образом не могло быть речи ни о русских Евангелии и Псалтири, ни вообще о каком-нибудь славянском переводе Библии и странное место в своем теперешнем виде вовсе не принадлежит ему. По всей вероятности, место это не есть чистая вставка, на что древние переписчики отваживались вообще очень редко, а только искажение каких-нибудь подлинных речей автора. Искажение каких именно речей, это нелегко решить. Если в Житии действительно говорилось об Евангелии и Псалтири, писанных на каком-то неведомом Константину языке, то можно

думать, что по названным книгам он выучился у незнакомца азбуке его языка; если же о Евангелии и Псалтири ничего не говорилось, то можно полагать, что он сделал попытку разложить на буквы звуки неизвестного языка (сколько это возможно с языком неизвестным), с тем, чтобы показать незнакомцу, в чем состоит искусство письмени; при этом сделал он то или другое, но во всяком случае никак нельзя думать, что у биографа было сказано, будто, не ограничиваясь азбукой, он настолько выучился самому языку, что мог свободно объясняться со своим незнакомцем; это значило бы усвоять ему способность к изучению языков совершенно невероятную. Шафарик предполагает, что вместо «обрете же ту Евангелие и Псалтирь, русскими письмени писано» в подлиннике стояло: «обрете же ту Евангелие и Псалтирь готскими письмени писано»[21]. Догадка эта совершенно вероятна, если только действительно говорилось в Житии о Евангелии и Псалтири, а не об одной азбуке: готы, принадлежавшие к числу обитателей Крыма, имели перевод Библии, и о переводе этом действительно было известно Константину, как это мы положительно знаем из его Жития. <...>

Выше мы сказали, что Константин во время пребывания в Корсуни обрел мощи святого Климента Римского. Климент, третий епископ Римский, был сослан императором Траяном в Таврические, или Крымские, каменоломни и потом по приказанию того же императора был утоплен там в море (около 100 года по Р. Х.). Он брошен был в одной из бухт, окружавших Корсунь, по нынешнему местному преданию, с мыса у входа в Карантинную бухту, по которой шла восточная стена Корсуни. Христиане, нашедши в воде его тело, извлекли его на один из прибрежных островков и погребли в одной из многочисленных тамошних естественных и искусственных каменных пещер. С тех пор мощи святого постоянно оставались в пещере до времени Константина. Довольно долго жители Корсуни и окрестных селений в день памяти Климента ходили к ним для молитвы; но потом, с течением времени, мало-помалу было оставлено в небрежении и совсем забыто место, где лежало тело мученика.

Прибывши в Корсунь, Константин возымел самое усердное желание снова открыть останки знаменитого пастыря Церкви и перенести их на место, более для них приличное и более удобное для поклонения. Он обратился со своими настояниями к архиепископу и светским начальникам города и, наконец, успел возбудить в них усердие к святому. Днем открытия мощей избрали 30 января, ознаменованное чудесным явлением Клименту Иисуса Христа. Вечером накануне 30 января Константин с архиепископом и духовенством корсунским, сопровождаемые до берега гражданами города и поя канон святому Клименту, сели в корабль (или кораблик) и отправились к острову. После не совсем успешного сначала искания занесенная землей пещера была найдена и раскопана, и кости Климента были обретены в ней вместе с якорем, с которым он брошен был в море. Привезенные в заранее приготовленной раке на берег, они с торжественным молебствованием были понесены в Корсунь и здесь, предварительно обнесенные по стенам крепости и по всему городу, поставлены были в большой соборной церкви. Часть мощей Константин взял с собою и впоследствии одну половину этой части отдал в константинопольскую церковь святых Апостолов,

при которой жил по возвращении из Хазарии, а другую, взявши с собою в моравское путешествие, отнес в Рим.

Так употребил Константин время своего замедления в Корсуни. *Однако* (курсив ред.) он успел ознаменовать себя еще одним замечательным делом. Разные кочевые народы, жившие по северному побережью Черного и Азовского морей и в самом Крыму, очень часто делали нападения на торговые и богатые греческие города и пригороды полуострова. Это случилось и во время пребывания Константина в Крыму. Только что он отправился из Корсуни в свой дальнейший путь, как узнал, что один из соседних с ним городов подвергся нападению и осаде от одного из удельных хазарских князей. (На западе поселения и владения хазар простирались до восточной части Крыма.) Желая спасти от бедствий, разграбления и плена христианский люд, Константин решился попытать счастья в силе своих убеждений и отправился в стан осаждавших. Слишком ли красноречиво он поставил на вид князю хазарскому то обстоятельство, что верховный государь его народа находится в мире и дружбе с греками, в доказательство чего он мог указывать на свое собственное посольство, или успел подействовать на него каким-нибудь иным образом, только, действительно, отвратил от города опасность: неприятель снял осаду и удалился, не нанесши жителям никакого вреда, впрочем, вероятно, взявши с них откуп. Отправляясь затем в дальнейшее странствование, Константин сел на корабль не в Корсуни или где-нибудь поблизости с нею, а в одной из восточных пристаней Крыма, вероятно, в Феодосии или Керчи, то есть вместо того, чтобы огибать морем южную оконечность полуострова, он прошел поперек его пешком. На этом переходе он сам подвергся было точно такой опасности, от какой недавно избавил неизвестный город: на обоз его напали венгры, кочевьями которых ему пришлось проезжать. Но после беседы с предводителем отряда, разумеется, веденной через переводчика, он получил совершенно свободный и даже почтительный пропуск; он мог подействовать на сердца простых людей и обезоружить их указанием на возвышенную цель своего далекого и трудного путешествия. Переплывши пролив Керчь-эникольский или, может быть, поднявшись вверх по самому Азовскому морю и высадившись где-нибудь неподалеку от устья или Кубани, или Дона (может быть, в Танаисе, или Тане, греческой колонии, находившейся при устье Дона), Константин достиг самой длинной и самой худшей части своего пути: до низовьев Волги, где находилась столица кагана, от устья Кубани не менее 1000, а от устья Дона не менее 800 верст по прямому направлению; странствуя по глубоким грязям и сыпучим пескам, странствуя то верхом, то пешком, Константин должен был провести в этой чрезвычайно тяжелой дороге не менее 40 дней[22].

Когда стало известно в столице хазарской, что посольство императорское приближается, каган послал придворных чиновников встретить Константина. Будущие противники нашего философа, конечно, не без тревоги ожидали греческого ученого; желая как можно скорее знать, что́ за человек, с которым придется им иметь дело, они воспользовались для своей цели церемонией встречи. Государь хазарский и большая часть его приближенных, как мы говорили прежде, были прозелитами иудейства; духовные и ученые вожди этого последнего для собрания предварительных сведений о Константине поспешили присоединить

к своим единоверцам, отправляющимся встречать посольство, способного и искусного человека из своей собственной среды. От представителя греческой народности и науки очень естественно было ожидать слишком большого высокомерия, и депутат хазарских раввинов поставил задачею смирить на первых шагах эту предполагаемую спесь Константина. Первое нападение сделано было довольно искусно, только Константин был не такой противник, которого можно было захватить врасплох. Политическая жизнь тогдашней Греции представляла жалкое зрелище постепенного разложения, и ее темные стороны не могли ускользнуть от внимания окружавших империю новых народов; в особенности должно было последним сильно бросаться в глаза то обстоятельство, что у греков престол императорский был добычею придворных интриг и произвола столичной черни и что на него мог быть возведен первый счастливый встречный. У новых народов было в этом отношении совершенно иначе: у большей части из них власть государя или придворных была неотъемлемым наследственным достоянием одного известного рода, и это не столько вследствие простого обычая, но на основании известного принципа, то есть на основании религиозных убеждений и верований. Посланный навстречу Константину ученый иудей избрал предметом своего первого нападения указанный слишком яркий недостаток греческой жизни. «Зачем вы имеете,— говорил он первому,— такой нехороший обычай: ставите своих государей не из одного, а из какого ни попало рода? У нас это не по-вашему». Константин, нет сомнения, сознавал, с внутренним стыдом, что укор совершенно справедлив и что хазары в этом отношении далеко выше его соотечественников, но не место было искренне сознаваться, а нужно было так или иначе отстаивать народную честь, и он сделал это с полным успехом. Вопрошатель его как будто забыл, что по месту рождения он был хазарин, а по вере и, как вероятно, происхождению был иудей; история царей иудейских представляет совершенно то же самое жалкое зрелище, и, следовательно, Константину оставалось только напомнить об этом последнем обстоятельстве. «Вместо Саула, оказавшегося недостойным,— ответил он,— Бог избрал Давида» и, таким образом, вызвавши в памяти противника дальнейшую историю царства Иудейского и Израильского, заставил его перейти с нападения на другое поле. Покинув государственные порядки греков, иудей обратился к их учености. Превосходство греков в этом отношении было так велико и неоспоримо, что здесь очень трудно ему было чем-нибудь похвастать; однако, он нашелся. <...> Смотря на книги, которые вез с собою Константин, иудеянин, по всей вероятности, с сознанием верха и в надежде торжества говорил: «Если называетесь вы учеными, то зачем без книги в руке не ступите ни слова; а у нас не так: если уже ученый, так он поглотил всю мудрость в себя и будет приводить на все свидетельства, не имея нужды заглядывать в книги». Нетрудно было Константину доказать, что подобная нехитрая ученость не может быть поставляема ни в какое сравнение с действительной ученостью, но он не хотел заходить так далеко, он просто показал жалкую ее несостоятельность в самой себе. «Встретивши голого человека,— отвечал он своему противнику,— ты, конечно, не поверишь, если он будет уверять, что имеет много одежд и денег: столько же и я верю тебе, будто из книг ты в себя поглотил всю мудрость»; за этим он дал хвастливому начетчику

вопрос из библейской генеалогии и хронологии, который заставил того сознаться, что действительно не все можно знать на память.

По прибытии на место соглядатай Константина, нет сомнения, донес тем, которые его посылали, что греческий богослов не такой человек, которого легко трактовать как-нибудь свысока и с которым безопасно было бы вступать в состязание остроумием. Но раввины, не довольствуясь донесением, хотели сами лично сделать опыт в этом же роде. Когда после первого представления кагану Константин был приглашен на обед к нему, то последние с притворным уважением говорили своему гостю: «Скажи нам о своем роде и своем общественном положении, чтобы не посадить нам тебя за столом ниже твоего места». Нет сомнения, они рассчитывали услышать от Константина хвастливые речи и готовили тонкие насмешки, но они ошиблись в расчете. Очень хорошо понимая цель вопроса, Константин с насмешкой над ними самими отвечал: «Дед у меня был вельможа и знаменитый человек и был очень близок к царю, но потом, сам лишивши себя своего положения и подвергнутый опале и изгнанию от двора, он жил нищим в чужой земле; родившись на свет, когда он находился в этом последнем состоянии, я не воротил его прежнего положения. Я — Адамов внук»,— прибавил он, поясняя свою загадочную речь. Раввины, к своему сожалению, должны были из этого увидеть, что совершенно напрасна с их стороны надежда установить взаимные отношения с противником сколько-нибудь невыгодным образом для последнего, и после неудачной попытки волей-неволей начали относиться к нему с уважением, как равные к равному.

Богословские прения начались на первом же обеде у кагана. По древнему обычаю христианских и нехристианских народов, на обеде пили священные чаши; принимая первую чашу, каган сказал: «Пьем во имя Единого Бога, Который сотворил всю тварь». На это Константин поспешил со своей стороны ответить: «Во имя Единого Бога и Слова Его, Которым утверждены небеса, и Животворящего Духа, Которым стоит вся сила их». Когда каган заметил, что то и другое в сущности одно, так как и христиане исповедуют Того же Самого Бога, Константин не принял соглашения, которое в действительности было бы для него уступкой, и стал защищать христианский догмат, не допускающий сокращения своей формулы. Будучи натуральным философом, а не ученым богословом, каган думал, что люди, исповедующие Одного и Того же Бога, могут призывать Его все вместе, несмотря на различие формулы призывания и образа представления, что это последнее различие не может препятствовать общению и молитве; но естественно, что не так должен был смотреть на это Константин со своей христианской точки зрения. Однажды поднятый спор не мог вдруг прекратиться, и речи Константина с каганом послужили поводом к настоящему первому его прению с раввинами: на этот раз он защищал против их нападений догмат Воплощения.

После этого первого прения, которое устроилось случайно, дальнейшее состязание происходило в особые, нарочно назначенные дни. Константин описал было все свои споры в Хазарии в особом сочинении, а Мефодий перевел было труд брата на славянский язык, но, к сожалению, ни подлинник, ни перевод не дошли до нас или по крайней мере еще не открыты до настоящего времени; единственным источни-

ком сведений о прениях служит краткое извлечение из пространной записи Константина, сделанной его биографом. Судя по тому, что в переводе Мефодия сочинение разделено было на восемь книг, можно думать, что, во-первых, диспуты происходили в продолжение восьми дней, во-вторых, что само сочинение было очень велико и, следовательно, прения были весьма продолжительными. Сколько можно видеть из краткого отчета, сообщаемого биографом, Константин главным образом должен был состязаться с иудейскими богословами, представителями господствующей тогда в Хазарии веры. Священные книги иудеев имеют точно такое же значение и для христиан. Так, ссылаясь на эти книги, раввины утверждали, что закон Моисеев есть первый и единственный, то есть навсегда имеющий остаться, данный Богом закон. Ссылаясь на те же самые книги, Константин доказывал, что закон Моисеев не есть первый, что, хотя подобно законам или заветам, которые предшествовали ему, то есть Ноеву и Авраамову, называется он вечным, но так же, как и те два, не имел остаться навсегда; переходя далее к христианству, Константин доказывал, что оно предвозвещено было пророками иудейскими; на возражения раввинов, что пророчества относятся не ко Христу, а к Мессии, еще не пришедшему, Константин отвечал исчислением времени и признаков, которые положены у пророков и которые доказывают, что Христос есть именно Мессия; защищая Божество Христово, Константин указывал, что, и по пророкам, Мессия имел быть человеком и вместе Богом. От рассуждений о коренных началах и общих основаниях религий противники Константина иногда переходили к частностям и нападали отдельно на некоторые христианские догматы и обычаи; так, например, они укоряли за почитание икон, за употребление в пищу не дозволенных Моисеем животных, именно свиней и зайцев. <...>

Прения Константина с мугаммеданами, как кажется, были очень непродолжительны. <...> Свои беседы с Константином они было начали следующим образом: «Скажи нам, гость, зачем вы отвергаете Мугаммеда: он весьма похвалил Христа в своих книгах, называя Его великим пророком и великим чудотворцем?» Константин на это отвечал: «Если мы примем вашего Мугаммеда, то должны вовсе отвергнуть своего Даниила; этот последний утверждает (9, 24), что с пришествием Христовым престанет всякое ведение и пророчество, а Мугаммед явился после Христа». В словах Константина, который говорил о Мессии бывшем, а не будущем, конечно, ничего не могло быть приятного для иудеев, но сопоставление Даниила с Мугаммедом немедленно заставило их забыть свою вражду с одной стороны, чтобы обратиться против другой; они начали осыпать Мугаммеда тяжкою и оскорбительной бранью. Видя такие результаты прений, нисколько, впрочем, не лежащие на ответственности Константина, мугаммедане, по всей вероятности, прекратили их на этой же первой попытке. Во всяком случае о них более ничего не сообщается в Житии Константина.

После состязаний Константина с иудеями и мугаммеданами обратился к нему со своею просьбою каган. В продолжение всех споров каган внимательно слушал все доказательства, которые были приводимы каждой из спорящих сторон, но, несмотря на это, он не в состоянии был решить для себя, на которой стороне остается правда. Прения постоянно ведены были на почве исключительно богословской, то есть

состояли в сопоставлении толкований библейских и других заранее признанных авторитетными свидетельств, а не из силлогизмов от разума или доказательств в собственном смысле этого слова; следовательно, прения могли быть поняты и оценены только людьми, более или менее знающими дело специально. Между тем кагана занимал вопрос о религиях; окруженный представителями многих религий, он желал знать, какая же из этих последних есть более других истинная. Так, не будучи в состоянии понимать богословских доказательств, он обратился к Константину с просьбою, чтобы тот иным путем решил для него вопрос о лучшей религии, именно: чтобы указал такие признаки лучшей религии, которые могут быть постигнуты без всяких знаний, простым здравым смыслом, чтобы вообще поговорил от разума, а не от учености; при этом каган просил нашего философа, чтобы он постарался вести речь свою как можно проще, представить дело в каких-нибудь примерах и образах (притчах). Константин поспешил исполнить желание кагана. «Некоторые мужи и жены,— говорил он,— были в великой чести и любви у своего государя, но потом, сделавши преступление, они были прогнаны от двора и посланы в ссылку; в этом нищенском состоянии они народили большое семейство; когда дети выросли, отец и мать начали советоваться с ними, как бы возвратить прежнее положение; но на совете не было согласия: один предлагал такое, другой — другое средство». В этой притче Константин, во-первых, объявил кагану, отчего на земле не одна, а много религий, во-вторых, объяснил ему, что́ такое есть вообще всякая религия. Если религия, как объяснял Константин, есть путь к воссоединению с Богом падшего человека, то было ясно для кагана, что между многими религиями должна быть всем предпочитаема та, которая есть путь к воссоединению с Богом самый надежный. «Но как же,— продолжал он далее спрашивать Константина,— узнать это последнее? Иудеи,— прибавлял он,—находят лучшим свой свет, христиане — свой и так далее каждый народ». Константин говорил на это: «Достоинство золота и серебра узнают посредством огня, а человек отличает истину от лжи своим умом; скажите мне: отчего случилось падение человека — не от видения ли и сладкого плода и похоти на Божество?» Получивши утвердительный ответ на свой вопрос, он продолжал: «Знаете ли вы, как лекари лечат болезни? Если какой-нибудь человек почувствует себя больным от какой-нибудь пищи или питья, то, скажите, какой врач лучше поступит: тот ли, который заставит больного еще принимать той же пищи или того же питья, или тот, который даст снадобий, действующих противоположным образом?» Получив в ответ, что, конечно, последний, Константин показал, что между всеми религиями именно христианство есть та религия, которая представляет действительные врачебные средства против болезни падшего человека, то есть что именно она врачует противное противным.

Не знаем, насколько убедительными показались кагану эти взятые от разума доводы Константина в пользу христианства. Каган, как известно, не сделался христианином, но из этого вовсе не следует выводить того заключения, что Константин нисколько не успел подействовать на его ум. <...> Как бы то ни было, только каган остался очень доволен сейчас изложенным и всеми вообще беседами Константина. Желая выразить ему свою благодарность за его самоотверженный труд посещения, каган предлагал было ему богатые подарки. Но Константин

не принял ничего, а взамен даров просил государя дать свободу находившимся у хазар пленным грекам. «Это,— говорил он,— будет для меня больше всяких даров» и таким образом имел удовольствие вывести с собою на родину 20 (по некоторым спискам — 200) человек своих соотечественников. Отпуская Константина в обратный путь, каган послал с ним письмо к императору. Государь Хазарский самым усердным образом благодарил в нем последнего за присыл к нему мужа, который своими беседами принес ему величайшую пользу, и объявлял, что тем из своих подданных, которые по своей воле захотели принять христианство, он представляет полную свободу. <...>

Спустя шесть лет после путешествия Константинова, именно в 868 году, все хазары приняли мугаммеданскую веру[23]. Вместо проповеди здесь сделали дело расчет и необходимость. Хазары, угрожаемые стать данниками одного из соседних с ними (не известных нам по имени) кочевых народов, просили помощи у хивинцев; последние соглашались исполнить просьбу не иначе, как под условием, что хазары обратятся в их веру, и таким образом заставили их принять мугаммеданство. Печальная весть об этом событии, по всей вероятности, не дошла до Константина, хотя он был еще в живых: он находился тогда в Риме, где скоро потом скончался.

Как мы говорили выше, длинный путь от Тавриды и Крыма до столицы хазарской и обратно представлял множество неприятностей и затруднений. Это пришлось изведать Константину особенно при обратном странствии из Хазарии на родину. Отправившись в дорогу в летнее время, когда пересыхают все ручьи и реки, текущие в астраханских степях, Константин и его спутники на одном из этих степных переходов подвеглись мучениям жажды; напрасно выходили они, разошедшись по разным направлениям: не отыскавши годной воды, они, наконец, принуждены были утолять нестерпимую жажду ржавой и противной водой из найденной невысохшей болотины. Достигши Корсуни, Константин снова остановился в этом городе на некоторое время: остановка была необходима для отдохновения после огромного и трудного пути. Подобно тому как и в первый раз, он ознаменовал свое пребывание здесь замечательными делами. Жители одной юго-восточной крымской местности, именно местности, находившейся в округе Фуллы, будучи христианами, не переставали в то же время держаться и своего дохристианского язычества. У них был огромный дуб, сросшийся с черешнею, который почитаем был священным; собираясь к этому дереву, они приносили под ним жертвы какому-то прежнему своему богу, считавшемуся подателем дождя[24].

Узнавши об этом, Константин немедленно отправился из Корсуни в окрестности Фуллы. Он собрал к себе тамошних двоеверцев и обратился к ним с обличительным словом. Когда слушатели-полуязычники возражали ему, что с прекращением жертв перестанет идти дождь на их землю и что нельзя посечь дуба, так как отважившийся на это немедленно подвергнется смерти, Константин, уверивши их в богохульной неосновательности первого опасения, последнее отверг тем, что сам начал рубить дерево. При этом, разумеется, не произошло с ним ничего особенного, и дуб был дорублен уже самими прежними его почитателями; случилось так, что и дождь, вопреки опасениям, пошел в следующую же ночь; этим окончательно успокоена была боязнь гнева от

языческого божества, и таким образом совершенно оставлено было его почитание.

Возвратившись домой и отдавши властям ответ о своем путешествии, Константин поселился на житье в одной из столичных церквей, именно в церкви святых Апостолов. Церковь эта, построенная Константином Великим и перестроенная Юстинианом, была в Константинополе то же, что у нас в Москве Архангельский собор, то есть была второю после Софийской кафедральной и служила усыпальницей для императоров и их фамилий. Но зачем, однако, Константин захотел поступить в число священников этой церкви, мы не знаем. В Житии говорится: «Видев же царя (по возвращении из Хазарии), живша без молвы, моля Бога, в церкви святых Апостол седя»[25]. Слова эти следует понимать так, что, поселившись при большой церкви святых Апостолов, Константин отдыхал от трудов своего путешествия и, совершенно чуждый дел общественных и всяких сношений с людьми, занимался исключительно уединенной молитвой. Может быть, что автор Жития действительно передает тут то, что известно ему было точным образом. Но так как для подвигов уединенной молитвы и кабинетных книжных занятий прежде Константин удалялся обыкновенно в пустыню или в монастыри, так как он вообще не любил оставаться в столице, если ничто не удерживало в ней, так как, наконец, церковь святых Апостолов, одну из наиболее уважаемых, а поэтому, нет сомнения, и одну из наиболее посещаемых церквей столицы, едва ли мог избрать местом для своего пребывания человек, исключительно искавший уединения; то по всему этому, как кажется, основательнее думать, что Константин поселился при церкви святых Апостолов не затем, чтобы просто «жить без молвы», то есть уединенно, а затем, чтобы принять на себя и проходить какое-нибудь общественное служение. Единственное общественное служение, которое Константин мог принять на себя при церкви святых Апостолов, подобно тому, как и при всякой другой церкви, было проповедничество. В первые времена христианства проповедь была, как ей и надлежит быть, самою существенной частью церковного богослужения. <...>

Выше мы сказали, что свои прения с иудеями и мугаммеданами хазарскими Константин изложил в особом сочинении. Так как нельзя предполагать, чтобы он составил его еще во время самого пребывания в Хазарии, и так как не имел он времени заниматься им впоследствии, то следует думать, что оно написано им именно непосредственно по возвращении на родину и что, таким образом, во время пребывания при церкви святых Апостолов, кроме проповедничества, он занимался и этим своим трудом. Если предположить, что Константин поставил целью сочинения не только дать отчет о своих прениях, но вместе с отчетом доставить своим христианским читателям и вообще обстоятельное руководство к полемике с иудеями и мугаммеданами, то кроме предположения, приведенного выше, мы будем иметь еще и другое объяснение: еще и на то, почему Константин остался в столице, а не удалился куда-нибудь в деревенское или монастырское уединение. Для сочинения более или менее ученого, наполненного свидетельствами из отцов и разных писателей, вообще выписками из книг, нужно было иметь под руками хорошую библиотеку, а хорошие библиотеки были в столице, и трудно было найти их где-нибудь из находившихся вне ее монастырей. <...>

Что касается до Мефодия, то по возвращении из Хазарии он поспешил снова удалиться на свою любимую Олимпийскую гору. Император со своими советниками и патриарх («видев же,— говорит Житие,— царь и патриарх подвиг его добр на Божий путь»[26]) желали посвятить его во епископа и поставить на какую-нибудь из лучших митрополичьих или архиепископских кафедр. Когда он решительно отказался, то принудили его по крайней мере принять на себя монастырское игуменство, именно в большом монастыре Полихроне, находившемся на соседних с Олимпийскими горах Сигрианских[27].

Обращаемся, наконец, к той деятельности Константина и Мефодия, которою они приобрели себе имя наших славянских апостолов.

Когда один из них, остановившись на житие в столице после трудов путешествия, проводил время в новых, хотя сравнительно и более легких общественных трудах, а другой, снова возвратившись к своим монашеским подвигам, готовился нести возложенное на него бремя игуменства, к греческому двору прибыло посольство от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей моравскому народу. Этому-то знаменитому в летописях славянского мира посольству и суждено было вызвать наших святых братьев на их истинно апостольское и вовеки незабвенное служение славянскому племени.

Но греки или славяне были по своему племенному происхождению наши славянские апостолы? Может быть, вопрос этот покажется читателю в настоящем месте слишком неожиданным; но выше нам совершенно негде было предложить его, а между тем ответ на него наконец должен быть имеем читателем. Ниже мы будем говорить о великом благодеянии, которое Константин и Мефодий оказали нашему славянскому племени, и читателю было бы неудобно оставаться в неведении и без представления: из рук чужих или своих получено славянами это благодеяние. Отвечая на вопрос, одна позднейшая болгарская переделка Паннонского Константинова Жития утверждает, что он был родом болгарин. <...>

Итак (курсив ред.), 1) если бы Константин и Мефодий действительно были славяне по происхождению, то во всяком случае славяне, которые еще в предках своих совершенно утратили свою народность и которые по духу были настоящими и полными греками, то есть славяне, которые были на деле славянами даже гораздо менее, чем, например, император Юстиниан; 2) если бы и действительно имели мы право считать Константина нашим по рожденню, славянином, то во всяком случае оставалось бы совершенно несомненным, что, с одной стороны, его вызвало явиться благодетелем славян вовсе не то обстоятельство, что он считал себя их соплеменником, а, с другой стороны, что он никогда не в состоянии был бы сделать для славян то, что сделал, если бы его природный великий ум не был пробужден греческим образованием. <...> Но 3) должно быть принято за положительно и несомненно известное, что Константин и Мефодий были не славяне, а природные греки. Авторы Паннонских Житий не говорят этого прямо и нарочно, потому что к этому им не предоставлялось никаких побуждений и поводов; но это с совершенной ясностью следует из их ненарочных и непрямых указаний. В Паннонском Житии Константина о его поступлении в учителя придворного училища говорится: «Умолиша и учительный стол прияти и учити философии и тогоземца и странныя»[28].

«Тогоземец» значит «единоземец, того единомышленник»; но так как совершенно ясно, что в приведенном месте под «тогоземцами» разумеются греки, а вовсе не славяне, то есть, что слова «учити тогоземца и странныя» должно понимать: учить как самих природных греков, так и иностранцев, то совершенно ясно, что в приведенном месте Константин называется единоземцем и единоплеменником греков, а не славян. Император Михаил, объясняя Константину, которого он посылал в Моравию, почему желает послать именно его с братом, а не кого-нибудь другого, говорит в Паннонском Мефодиевом Житии: «Вы бо еста селунянина, да селуняне все чисто словеньски беседуют». Если бы Константин с Мефодием были не греки, а славяне, то автор Жития, конечно, заставил бы императора выражаться не так, а иначе; он бы заставил его сказать: «Моравы вам единоплеменники, моравы говорят с вами одним языком» и т. п. Автор Жития находил, что у читателей его родится вопрос: как Константин и Мефодий, будучи греками, умели говорить по-славянски? И вот он отвечает: Константин и Мефодий были греки солунские, а солуняне (при этом автор опускает обстоятельство, хорошо известное всем его современникам, именно, что окрестности Солуни были заселены славянами) все говорят по-славянски, как настоящие славяне. Автор того же Мефодиева Жития, рассказывая о назначении Мефодия в воеводы славянские, замечает, что́ император говорит после: «Аз яко прозря, како и хотяше учителя словенем послати, и перваго архиепископа, дабы проучил ся всем обычаем славеньским и обыкл я помалу» [29] (то есть я, назначая Мефодия в воеводы славянские и таким образом давши ему случай изучить все славянские обычаи и привыкнуть к ним мало-помалу, как бы предвидел, какого хотел Бог дать в нем учителя славянам). Приведенные слова не могли быть сказаны императором, от которого Мефодий был сделан воеводою славянским, потому что он не дожил до того времени, как Мефодий стал учителем славян; но для нас важно то, что их влагает в уста императора автор Жития, который был учеником Мефодия и точно знал, славянин или грек был последний. Если автор влагает в уста императора приведенные слова, то необходимо следует, что Мефодий был грек, а не славянин, потому что если бы он был славянин, то мог ли бы сказать автор, что ему нужно было поучаться обычаям славянским и мало-помалу привыкать к ним? <...> Для нас, позднейших славян, дело величайшего интереса: родные нам савяне или чуждые греки были наши первоучители; но авторы Паннонских Житий также были славяне, и притом самые истые славяне. Так, если бы первоучители наши вышли из нашего собственного племени и мы никому не были ими обязаны, они никак не преминули бы с патриотической гордостью и самым заботливым образом выставить на вид это обстоятельство; но если они вовсе этого не говорят, если они совершенно ясно дают увериться в противном, то не может подлежать сомнению, что Константин и Мефодий действительно были греки, а не славяне, и вопрос должен быть считаем решенным. <...>

С нашим изложением событий и дел, к которому снова возвращаемся, доселе мы находились на прямой и торной дороге; отсюда вступаем в дремучий лес, где не только придется пробираться по мудреным тропам, но часто и совсем терять всякий наслеженный путь. Говоря иначе и проще, доселе мы по большей части могли ограничиваться положительной передачей существующих известий и не имели нужды слишком

часто прерывать нить рассказа собственными разысканиями и соображениями, а напротив, отсюда должны будем почти постоянно обращаться к этим последним. <...> Благословясь, начинаем.

Прежде всего, возникает вопрос: зачем моравам нужны были греческие учители? Вопрос рождается потому, что моравы были уже крещены и имели учителей у себя дома, сколько хотели. Вот кратко история их обращения в христианство. Утвердившись вместе с чехами на своем теперешнем месте жительства во второй половине V века, они оставались язычниками очень долго, именно до начала IX века. Сначала их просто некому было обращать в христианство, потому что все соседи были также язычниками, а потом они упорно отказывались принимать новую веру. У них явились проповедники христианства с начала VII века или с того времени, как последнее водворилось на западной и юго-западной границе Чехо-Моравии, у немецкого народа баваров. Очень сильно желали немцы видеть крещенными как моравов, так и всех вообще соседних с ними славян, но единоплеменникам нашим ненавистна была десятина, которую крестители не со славянскою, а с немецкою жадностью вымогали с крещенных; но еще более отталкивало их от христианства то обстоятельство, что немцы смотрели на крещение как на символ политического данничества обращавшихся народов. Поэтому, несмотря на все желание немецких епископов крестить славян, усилия их имели успех только между теми племенами, которые предварительно были покоряемы силою оружия; так, в середине VIII века немцы наложили свое иго на карантанцев или ярутанцев, живших с южной стороны от Чехо-Моравии, и вслед за этим у последних начало мало-помалу водворяться христианство[30]. Моравы до начала IX века в состоянии были сохранять свою независимость, а поэтому до того же самого времени оставались они и язычниками, но в 803 году начальники моравских племен, или тамошние князья, избегая опасности быть покоренными силою оружия, добровольно признали себя данниками франкского императора Карла Великого[31], чем, наконец, и отворена была в их землю дверь христианству. Нет сомнения, что немецкие священники, увидев возможность, поспешили к моравам с своею проповедью и сами, по собственному побуждению. Но во всяком случае они должны были сделать это по настоянию государя. Карл Великий, частью движимый благочестивой ревностью, частью из видов политических, самым усердным образом заботился, чтобы крещены были все покоренные им немецкие и славянские племена; самым настойчивым образом требовал он в этом отношении забот и трудов и от своего духовенства[32]. Что касается в частности до Моравии, то, не имея ясных свидетельств, чтобы христианство в этой стране было обязано своим началом именно государю, мы имеем самые положительные свидетельства на то, что по его решительному приказу деятельно производима была проповедь и частью водворяемо, частью окончательно утверждаемо было христианство у всех соседних с моравами племен, которые находились в вассальных отношениях к империи[33], а из этого само собою следует, то христианские проповедники Карла Великого действовали из Моравии. Как было принято моравами христианство на первых порах, кем именно и как оно было распространяемо, ничего этого мы не знаем. Но вскоре после смерти Карла у моравов явился князь, собиратель земли, о котором сохранились некоторые известия в летописях;

этот князь, по имени Моймир, был уже христианином. Преемником Моймира был тот самый Ростислав, от которого было прислано посольство к грекам. Что касается до времени этого последнего, то несомненно известно, что не только сам он был христианином, но и крещены были, если не все, то по крайней мере большая часть его подданных[34]. Новообращенные, правда, были христианами еще более по имени, чем на деле, но во всяком случае внешним образом новая вера водворена у них была совершенно и окончательно. Моравы не имели самостоятельной иерархии и собственного епископа, в церковном отношении они находились в зависимости от архиепископии Баварской, именно причислены были к епархии Пассавской[35], откуда и получали свое духовенство.

Возвращаемся к нашему вопросу. Моравы, говорим, были крещены и имели у себя учителей в своих немецких священниках. Зачем же они еще просили себе учителей у греков? По словам биографии Мефодиевой, посольство моравское от лица своего князя держало в Константинополе такие речи: «Нашло в нашу землю много христианских проповедников, пришли итальянцы, греки, немцы; проповедники учат нас каждый по-своему, а мы, славяне, простые люди и не имеем, кто бы указал нам истину и сказал, где правда: так пошлите к нам от себя таких мужей, которые бы вывели нас из нашего затруднения и утвердили нас в том, чего должно держаться». Влагающий эти речи в уста моравским послам был личный ученик Константина и Мефодия; но, несмотря, однако же, на это, мы не можем принять его показания как достоверного. По его словам, послы будто бы говорили, что вошли в Моравию многие и разные христианские учители. Но это неправда: у моравов были одни только немецкие учители или священники, приходившие к ним от Баварско-Пассавского епископа, к кафедре которого была приписана их страна. Итальянские учители, после того как моравы были крещены по римскому обряду и были отданы в постоянное заведование одному из епископов, подведомых Римскому престолу, не имели никакой нужды ходить к ним, притом если бы они и приходили, то проповедовали бы не разно, а совершенно согласно с немецкими учителями; что касается до греческих учителей, то, во-первых, положительно известно, что их не было в Моравии, во-вторых, в страну, которая была крещена немецкими епископами и находилась в вассальных отношениях к немецким государям, они не имели возможности проникнуть прежде, чем нарочно приглашены были, наперекор немцам, самими моравами. Далее, если предположить, что и действительно у моравов проповедовали разные учители, и они поставлены были в затруднения, кого предпочесть: то, во-первых, спрашивается, почему они обратились к грекам, а не к немцам, своим соседям и во всяком случае своим главным учителям, или не к своему высшему церковному начальству? Во-вторых, если уже они более доверяли грекам, зачем нужно было посольство в Константинополь, когда греческие проповедники, как говорит биография, были у них налицо? Таким образом, показание Мефодиевой биографии идет наперекор всем соображениям и не только никоим образом не примиримо с другими несомненными свидетельствами, но даже заключает само в себе внутреннее противоречие; по всему этому оно, конечно, должно быть отвергнуто. По словам другой биографии, то есть Константиновой, послы моравские говорили императору греческому следующее: «Народ наш покинул язычество и об-

ратился к христианству, но мы не имеем учителя, который наставил бы нас новой вере на нашем собственном языке; так как от вас, греков, во все страны исходят добрые уставы, то дайте нам такого учителя и епископа; смотря на нас, и другие славянские племена поспешат обратиться к христианству». Не совсем ясно, какое именно требование усвояет автор моравам, заставляя последних просить у греков такого учителя, который наставил бы их христианской вере не на чужом, а на их собственном, моравском языке; но, по всей вероятности, у него та мысль, что моравы просили себе у греков людей, которые бы перевели на их собственный язык христианские вероучительные книги и установили у них на этом последнем христианское богослужение. Это второе показание, столько же авторитетное само по себе, как и первое, выше нами разобранное, получает особенно важное значение еще вследствие того обстоятельства, что, или основываясь на нем, или независимо от него, то же самое утверждает о посольстве моравском и большинство современных исследователей. Но, хотя бы показание имело значение еще и этого в десять раз более важное, мы все-таки должны были и ему самым решительным образом отказать в своем согласии. На первый взгляд, действительно, очень естественно представлять себе, что моравы просили у греков именно таких людей, которые перевели бы на моравский язык Священное Писание и богослужебные книги: до прибытия в Моравию Константина и Мефодия там были немецкие священники; если моравы, несмотря на это, обратились с просьбою за учителями к грекам, то очень естественно думать, что они недовольны были именно латинским богослужением немецких священников и что, следовательно, они просили себе у греков именно переводчиков.

При более внимательном рассмотрении дела, напротив, это оказывается положительно невозможным. Во-первых, моравам никак не могло прийти в голову просить, чтобы было им дано богослужение на их собственном, родном языке. Нам представляется такая просьба самою естественной, а в действительности, напротив, она вовсе немыслима: моравы не имели пред собой решительно ни одного примера, чтобы христианское богослужение было переводимо на языки новых, обращавшихся народов (о переводе Ульфилы, само собою разумеется, они ничего не знали); у всех других славян они видели или латинский, или греческий языки; сами крестители их, немцы, совершая у них богослужение на латинском языке, точно так же, как у себя дома, совершали его на том же латинском языке. Вообще, смотря кругом себя, моравы, подобно всем другим новым народам, должны были твердо укорняться в той мысли, что единственные неизменно предопределенные для христианского богослужения языки суть греческий и латинский; так что, если бы и поднимался у них вопрос о богослужебном языке, они должны были приходить к желанию перевода, а заканчивать свои подобные беседы просто сожалением, что их язык не есть один из тех двух священных языков. Так, говорим, у моравов никоим образом не могло родиться желание иметь христианские богослужебные книги в переводе на свой родной язык. Во-вторых, согласимся на невозможное, то есть согласимся, что моравы действительно имели желание видеть перевод богослужебных книг на их язык: в этом случае они обратились бы со своей просьбой никак не к грекам, а к папе. Они были крещены латинскими священниками, страна их составляла часть одной из римских

епархий; совершенно естественно было поэтому и адресоваться им с своими нуждами именно к Главе Римской Церкви. Предпочесть папе греков они не имели решительно никакого основания и побуждения. Обыкновенно это объясняют себе таким образом. Римская Церковь не терпела, чтобы Священное Писание и богослужебные книги существовали на каком-нибудь другом языке, кроме латинского, у них возведено было в принцип, что латинский язык есть единственный богослужебный язык; напротив, греки охотно дозволяли каждому народу совершать богослужение и читать Библию на своем собственном языке и с полным усердием готовы были подавать каждому народу свою помощь в деле перевода; моравы знали все это, а потому и обратились с просьбою не к папе, а к грекам; они были уверены, что папа откажет им в просьбе, напротив, надеялись, что у греков последняя найдет самый благосклонный прием. Так рассуждают почти все; но пусть так рассуждали бы даже бы и положительно все, и тогда рассуждения все-таки были бы совершенно неосновательны. Во-первых, моравы, разумеется, не справлялись, какие принципы у латинян и какие у греков, а судили об одних и о других на основании того, что видели в действительности. Но действительность не подавала им ни малейшего повода иначе думать в этом отношении о первых, иначе о вторых: они не видели, чтобы сделан был для какого-нибудь из новых народов перевод латинских богослужебных книг; но точно так же они вовсе не видели, чтобы для кого-нибудь был сделан перевод и греческих книг. Смотря на действительность, моравы не имели основания даже и предполагать, что у греков они более встретят сочувствия своей просьбе, чем у латинян. Единственным данным для предположения могла служить бóльшая или меньшая ревность тех и других христиан к обращению язычников; но какой бы ни был у латинян источник их ревности, в этом случае они уж никак не отставали от греков. Во-вторых, если в указанном выше отношении мы вообще не ошибочно думаем о латинянах, то вовсе нельзя сказать, чтобы имели также верные мысли о греках. Действительно, у латинян тогда почти уже введено было в принцип, что церковным языком должен быть исключительно язык латинский; но и греки далеко не так усердно желали видеть у каждого народа его собственное национальное богослужение, как у нас привыкли об этом думать: у одних вражда к новым языкам исходила из формулированного церковного начала, у других она основывалась на побуждениях, не возведенных ни к какому началу,— едва ли не в этом состояло все различие, то есть различие было очень неважное, или, собственно говоря, его вовсе не было никакого. Что тогдашние греки, подобно латинянам, также крепко желали, чтобы у народов, которые принимали от них крещение, богослужебным языком исключительно был греческий, на это мы имеем достаточно доказательств. Болгары и сербы давно жили в пределах империи, и весьма естественно было бы грекам позаботиться о переводе своих вероучительных и богослужебных книг на язык того или другого из этих славянских племен: перевод был необходим, потому что довольно значительно было число принимавших христианскую веру; перевод был чрезвычайно важен, потому что он ускорил бы полное обращение названных племен в христианство; между тем, к удивлению своему, видим, что представителям Греческой Церкви не приходило на ум и мысли о подобном деле. В то самое время, как Константин и Мефодий тру-

дились в Моравии, крещен был греками народ болгарский. Тут уже перед глазами был пример перевода богослужебных книг на славянский язык, а труд, предпринятый и совершенный одним человеком,— разумеем Константина,— конечно, был бы очень легок для духовного правительства Константинопольского; но, несмотря на это, болгары оставлены были без перевода и получили его уже после, от пришедших к ним из Моравии учеников Константина и Мефодия. Патриарх Фотий в одном из своих окружных посланий, направленных против папы, указывает на свои заслуги в деле обращения болгар, но напрасно мы стали бы искать у него похвальбы, чем он больше бы всего мог хвалиться, то есть похвальбы тем, что он дал болгарам величайший дар для всякого новообращенного народа — христианское богослужение на их собственном языке, напрасно мы ожидали бы, что он воспользуется случаем выставить на вид резкий контраст в этом отношении между Римскою и Константинопольскою Церковью. Знаменитый ученый муж своего времени своим молчанием ясно показывает нам, что перевод ему не приходил на мысль и что относительно его он стоял также не выше других своих современников. Очень хорошо знаем, что Константину не воспрещено было сделать перевод для моравов; но это, по-видимому, блистательное и, как день, ясное доказательство в пользу греков на самом деле не доказывает ровно ничего. И папа, когда Константин с своим переводом прибыл в Рим, принял нововводителя не только без всяких порицаний, но с величайшими похвалами и освятил славянские богослужебные книги к их употреблению торжественным образом — на престоле святого Петра. Никто не станет говорить, что папа поступил при этом так, как и надлежало ожидать, то есть всякий согласится, что им было допущено не более, как исключение из правила. Но если исключения возможны были для папы, то, конечно, они возможны были и для греков. Что дело и действительно имеет такой смысл, то есть что дозволение Константину перевода вовсе не должно быть понимаемо в смысле искреннего сочувствия к последнему со стороны греков, на это мы имеем совершенно ясное доказательство в Житии Константиновом; именно, как ясно проговаривается автор Жития, Константин опасался, что его соотечественники за его небывалое и не очень приятное для них нововведение провозгласят его не более не менее, как еретиком[36]. <...>

Так вот, наконец, кратко об отношениях греков к другим народам. Они не провозглашали, подобно папе, что все христианские народы в мире должны молиться Богу исключительно на одном греческом языке; в этом отношении они связаны были преданиями своей лучшей древности, когда позволено было молиться на своих языках иверам и грузинам, армянам и сирам и проч. Но в них жив был тот дух другой, еще более глубокой их древности, для которого все негреческое, или все варварское, не имело никаких прав на существование и было мыслимо не иначе, как под условием полного самоотречения и перерождения греческого. <...>

Итак, повторяем: не может подлежать ни малейшему сомнению, что моравы прислали к грекам свое посольство не за тем, чтобы просить у них перевода Священного Писания и богослужебных книг. Чего же моравы просили у греков? Не прося ни переводчиков, ни учителей и вовсе не помышляя о славянском языке, они просто просили епископов

и священников, то есть они просто имели намерение и желание отложиться от власти папы и отдаться во власть патриарха Константинопольского и просили греков дать им священников затем, чтобы эти последние, пришедши в страну, заменили в ней священников немецких (подразумевается заменивши вместе с этим обряд и язык латинский обрядом и языком греческим). Но зачем моравы желали отложиться от папы и передаться патриарху Константинопольскому? На этот вопрос должны быть даны два ответа, и неизвестно, которому из них принадлежит преимущество. В одном из позднейших писем папы к моравским князьям[37] читаем о нашем посольстве в Константинополь: «Не токмо бо у сего святительского (то есть папина) стола просисте учителя, но и у благоверного царя Михаила; да посла (и он послал) вам блаженного философа Костянтина и с братом, дондеже мы не доспехом». Из этих слов видим, что моравы посылали посольство не только к грекам, но и к папе. Что же значат эти два посольства? Мы поймем, в чем дело, если обратимся к тогдашним обстоятельствам моравов. Они вели тогда ожесточенную войну с немцами, а между тем духовенство у них было немецкое, приходившее к ним от их врагов. Конечно, ничего не может быть неестественнее подобного положения дела; когда лет через семь после повторилось это же самое, то немецкие священники так усердно ковали против моравов ковы в пользу противной стороны, что первые, наконец, увидели себя вынужденными всех их выгнать из своей земли. Нет сомнения, что немецкие священники точно так же вели себя и теперь, и нет сомнения, что Ростислав самым решительным образом желал от них избавиться. Семь лет после преемник Ростиславов, выгоняя немцев, не имел кем заменить их у себя под руками, но что нужно было делать этому последнему? Очевидно, он должен был обратиться к папе и вместо немецких священников просить у него итальянских (просить папу или о причислении Моравии от епископии Пассавской к какой-нибудь епископии Итальянской, или о присылке в Моравию какого-нибудь отдельного епископа) или, отложившись и от самого папы, обратиться со своею просьбою к грекам. Таким образом, приведенные выше слова папы: «Не токмо бо у сего святительского стола просисте учителя» и проч. могут означать не что иное, как то, что Ростислав прежде, чем отправлять посольство в Константинополь, обращался к своему Римскому патриарху. Но что могло заставить его после папы адресоваться к грекам? «Посла вам философа Константина,— говорит папа,— дондеже мы не доспехом». Это «не доспехом» может быть понимаемо двояко, именно: или так, что действительно прежде, чем папа успел удовлетворить просьбу, князь моравский неожиданно оставил его и обратился к грекам, или так, что папа, держа сторону немцев, не хотел удовлетворить просьбу и только уже после объяснял отказ упомянутым благовидным предлогом. Если мы примем последнее толкование, то будем иметь ответ на наш выше сделанный вопрос; именно ответ этот будет: моравы просили себе у греков их духовенства потому, что папа не хотел избавить их (моравов) от духовенства немецкого. Но вовсе неизвестно, которое толкование справедливее. Очень может быть, что папа, подобно тому, как и после некоторое время, нисколько не хотел держать стороны немцев и что действительно лишили его возможности удовлетворить просьбу сами моравы, неожиданно надумавшие обратиться к грекам. Чем же может быть объяснено дело в этом последнем

случае? Здесь нужно обратиться опять к тем же тогдашним обстоятельствам моравского народа, только к другой стороне этих последних.

Как мы говорили выше, у моравов была тогда ожесточенная война с немцами, именно: они бились тогда с этими заклятыми врагами всего славянского племени за свою народную независимость. Подобно другим славянам, моравы первоначально не имели одного общего для всей страны государя и управляемы были — каждое племя отдельно — многими небольшими владетелями или князьями; но в начале IX века между небольшими моравскими князьями явился один замечательный человек, который возымел мысль стать собирателем своей земли; этот мудрый князь и первый общеморавский государь назывался Моймиром. Успевши в своих стараниях подчинить себе всех мелких моравских владетелей, Моймир начал помышлять о свержении немецкого ига, которое слабые прежде моравы добровольно наложили на себя при Карле Великом. Моймиру не удалось выполнить своего замысла, потому что немцы едва только заметили опасность, так поспешили отнять у него великокняжеский престол и предать его другому. Этот другой, наш Ростислав, начал преследовать мысль своего предшественника с еще большей энергией. Владея большими средствами и поставленный в более счастливые условия, он действительно успел сделать свое отечество независимым. С этого времени началась у него с немцами упомянутая нами непрерывная и жестокая война за независимость. Война заставляла как одну, так и другую из враждующих сторон усердно искать себе союзников между соседями. И немцы, и моравы в особенности старались привлечь на свою сторону самых сильных между окрестными народами болгар. Сначала моравы были счастливее своих врагов: приготовляясь еще к первой войне с немцами за свою независимость, они, несмотря на все старания последних, успели перекупить у них болгарское оружие[38]; но потом болгары оставили моравов и передались немцам[39]. Это последнее событие было большим несчастьем для моравов; окруженные с двух сторон сильными врагами, они должны были увидеть себя в очень затруднительном положении и имели серьезные основания предаться боязни за свою недавно приобретенную свободу. Таким образом, переход болгар на сторону немцев должен был заставить моравов деятельно искать себе новых союзников. Но к кому же могли они обратиться, как не к грекам? Конечно, греки не могли подать моравам помощи против немцев. Но, будучи вечными врагами своих соседей — болгар, они были самыми лучшими, так сказать, естественными союзниками против этих последних, так что моравы должны были обратиться с просьбами о союзе и помощи необходимо к ним, а не к кому-нибудь другому. Итак, если из двух указанных выше предположений дóлжно быть первое, то есть, что Ростислав послал к грекам посольство не вследствие отказа папы удовлетворить его просьбу, а сам, по собственным побуждениям, то в этом случае причиной посольства должно быть полагаемо желание моравского князя заключить с греками военный союз. Именно в этом случае дело должно быть представляемо так: Ростислав, желая избавиться от немецкого духовенства, послал с просьбою об этом к папе; но потом, прежде чем последний успел сделать какое-нибудь решение, он увидел нужным искать союза с греками и поэтому, не дожидаясь возвращения своего посольства от папы, отправил новое посольство, в Константинополь. Зачем Ростислав,

ища военного союза с греками, предлагал им свою страну в церковную зависимость, это, разумеется, понятно само собой: этим предложением он всего лучше мог надеяться склонить греков к заключению военного союза; притом не могло быть для него сомнения, что и сами греки поставили бы это непременным условием союза. Что моравы так легко готовы были менять одну церковную обрядность на другую, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, как говорили мы выше, они были тогда христианами еще более по имени, чем на деле, и для них было все равно, какой бы обрядности ни следовать; во-вторых, интересы церковные приносятся народом в жертву нуждам политическим и при более твердой вере. Пример из того времени, подобный моравам, представляют нам болгары: крещенные греками, они вскоре после крещения отложились от греков к папе; затем они снова возвращались к грекам и снова отпадали к папе, пока, наконец, совсем не остались за первыми. Так, повторяем, на вопрос, зачем моравы просили их духовенства, могут быть даны два ответа: или папа отказал моравам в их просьбе о духовенстве, или они домогались заключить военный союз с греками. Какое же заключение из всего сказанного? Заключение до чрезвычайности важное. Ни моравы вовсе не думали просить у греков славянской азбуки и славянского перевода книг, ни грекам вовсе не приходило на ум дать им и то и другое, а между тем посольство моравское в Константинополь имело своим следствием появление на свет славянской грамоты. Кому же обязан славянский мир этим великим благодеянием? Не моравам, не грекам, а единственно и исключительно тому великому человеку, которому назначено было идти в Моравию во главе греческого духовенства, то есть нашему Константину. Как видит читатель, путешествие послов моравских в Константинополь само по себе вовсе не было таким событием, которое бы имело великое значение для целого славянского мира. Какое было дело остальным славянам до того, что моравы находили нужным для себя власть одного патриарха переменить на власть другого? Какой пользы могли ожидать для себя другие славяне, что придут в Моравию вместо немецких священников греческие? Да и вообще с какой стати остальные славяне должны были серьезно смотреть на дело, когда и сами моравы, будучи еще очень плохими христианами, не придавали церковной стороне его почти никакого значения и по той или другой причине просили у греков священников, во всяком случае имели в виду не этих священников, а свои государственные нужды? Но между тем путешествие послов моравских в Константинополь действительно стало событием для целого славянского мира. Повторяем: единственной причиной всего было то случайное обстоятельство, что в начальники или протоиереи над священниками, имевшими отправиться в Моравию для замены там священников немецких, был выбран наш Константин Философ. Будь выбран кто-нибудь другой, и моравы получили бы только то, что просили, то есть греческих священников вместо немецких и греческое богослужение вместо латинского, и остальным славянам не было бы до этого ни малейшего дела. Так как власть Константинопольского патриарха не утвердилась в Моравии, то кратковременное пребывание в стране греческого духовенства заняло бы в самой истории моравской неважное место случайного и бесследного эпизода. Но выбран был наш Константин, и посольство моравское получило в истории целого славянского мира значение великой эпохи.

Мысль нашу, что моравы просили у греков, а греки имели в виду дать моравам не переводчиков Священного Писания и богослужебных книг, а просто священников с греческими книгами, надеемся, мы доказали с совершенно достаточной твердостью. <...>

Желание моравов признать над собою власть Константинопольского патриарха, само собой разумеется, не могло быть иначе принято греками, как с полной благосклонностью; ради него, конечно, они поспешили обещать моравам и самую усердную помощь против болгар, если только эта последняя действительно была прошена. Когда дело дошло до вопроса, кого поставить во главе имевшего идти в Моравию духовенства, то важную обязанность быть представителем патриарха и водворить в стране его власть немедленно решено было возложить на нашего Константина. Своими двумя прежними путешествиями, то есть путешествием к сарацинам и совершённым незадолго перед тем путешествием к хазарам, Константин приобрел себе на церковно-посольском поприще деятельности такую славу, что, так сказать, заставлял признать его своею неотъемлемою собственностью и что всякое новое поручение в том же роде необходимо должно было тотчас же напоминать о его имени. Но в данном случае было еще новое обстоятельство, которое заставляло выбрать именно Константина, а не кого-нибудь другого: он знал славянский язык. И для каждого из священников, посылаемых в Моравию, очень важно было знание этого языка; но если нельзя было найти многих таких, то по крайней мере должен был знать по-славянски глава всего посольства, имевший обращаться с государем Моравским и вождями их рода и прилагать все старания к тому, чтобы поселить в моравах привязанность к престолу их нового духовного владыки. Поэтому решено было просить Константина взять на себя труд путешествия, несмотря даже на то, что он был тогда не совсем здоров. Призвавши во дворец императорский, ему говорили там следующие речи: «Знаем, философ, что расстроено и плохо твое здоровье, но, во-первых, дело, которое предстоит в Моравии, никто не в состоянии выполнить так успешно, как ты; во-вторых, вы с братом знаете славянский язык, следовательно, по необходимости нужно идти вам, а не кому-нибудь другому». Почему Константин знал славянский язык, это объясняется нам из слов, которые биограф влагает в уста императору. «Вы,— говорит у него нашим братьям император,— солуняне, а солуняне все хорошо говорят по-славянски». Окрестности Солуни издавна заселены были славянами, и в самом городе немало было граждан, которые по происхождению тоже были славяне; так что неудивительно, что при непрестанных сношениях с загородными жителями и при большой распространенности славянского языка в самом городе большинство солунских греков умели говорить по-славянски точно так же, как, наоборот, очень многие из славян умели говорить по-гречески. <...> Таким образом, Константин знал славянский язык, потому что был родом солунянин. Конечно, он очень рано переселился из своего отечественного города в столицу, однако, не моложе 17 или 18, следовательно, все-таки имел достаточно времени выучиться говорить по-славянски. Как он не позабыл по-славянски в продолжение 20 лет, протекших от выезда из Солуни до прибытия в Константинополь моравского посольства, это объясняется тем, то славян было очень много и в самой столице греческой, так что, живя в этой последней, он постоянно имел возможность поддерживать

свое знание славянского языка. Что касается до Мефодия, то, выучившись говорить по-славянски первоначально в отцовском доме, он потом должен был самым лучшим образом узнать язык, когда был на воеводстве славянском и когда познакомился со всем образом жизни, со всеми нравами и обычаями славян. Итак, повторяем, Константину предложено было идти в Моравию, во-первых, потому, что он неоднократно показал свою способность выполнять наилучшим образом самые трудные поручения, во-вторых, потому, в частности, что он знал тот язык, который нужен был в предстоящем путешествии. Эти причины, остановившие выбор именно на нем, а не на ком-нибудь другом, конечно, были очень уважительные. Но все-таки дело, как легко может видеть читатель, далеко еще не имело характер неизбежной необходимости; люди способные и вместе знающие славянский язык, без сомнения, могли найтись и кроме Константина, а таким образом очень легко могло случиться, что был бы выбран не он, а кто-нибудь другой. Но случись это последнее, и тогда посольство моравское осталось бы при своем первоначальном значении неважного события, касающегося исключительно одних моравов. Этим мы хотим сказать, что великое дело изобретения славянской грамоты и перевода на славянский язык Библии и церковного богослужения, не будучи делом с чьей-нибудь стороны преднамеренным, было плодом простой счастливой для нас случайности. Как же мы должны благословлять эту случайность, давшую нам в Константине нашего истинного первого просветителя!

Поручение идти в Моравию водворить там греческое богослужение и власть своего Цареградского патриарха Константин воспринял с той же величайшею готовностью, которую мы видели в нем и каждый раз прежде; несмотря на свою болезнь, он отвечал на просьбу своим обычным: «Рад, иду тамо»,— и это была не простая и фальшивая фраза, а выражение действительного, искреннего желания служить обществу, когда призывал к тому Промысл. Согласившись на просьбу, Константин должен был поспешить к месту своего назначения. Но он остался еще в Константинополе... Известно, что для великих людей случай нередко бывал поводом к великим открытиям и великим делам; это было и с изобретателем нашей славянской грамоты. С детства знал Константин славянский язык, с детства видел он крещеных славян, которые должны были слушать христианское богослужение не на своем родном, а на чужом, греческом языке; но протекло много лет, а мысль о славянской грамоте вовсе не приходила ему на ум; наконец, явился один случай, и мысль эта низошла на него внезапным озарением. Требовать, чтобы было обстоятельно объяснено, отчего именно известный случай навел Константина на его великую мысль, а не множество других прежних случаев,— требовать, говорим, этого, конечно, совершенно неуместно. Ничего, разумеется, не бывает без причины, но даже в других, более осязательных и уловимых областях явлений, чем мышление, немало случаев, где на вопрос о причине опять может быть повторено, что ничего не бывает без причины. Если должны быть сделаны какие-нибудь соображения, то может быть сказано следующее. Не на глазах Константина началось, что славяне, обращаясь в христианство, должны были молиться Богу греческим языком; он застал такой порядок существующим; с детства присмотревшись и привыкши к нему, он мог не находить в нем вместе со всеми своими соотечественниками

и современниками ничего неестественного и, таким образом, совершенно не останавливаться на нем своим вниманием,— вообще обычай мог быть для него, подобно всякому явлению обыденной жизни, существующим фактом — и более ничего, точно так же, как и нам в явлениях окружающей нас обыденной жизни очень многое крайне неестественное кажется совершенно естественным оттого, что мы успели к этому многому присмотреться. Но вот случилось так, что Константину пришлось самому идти с греческими книгами к славянскому народу; дело, будучи взято от них в свои собственные руки, необходимо должно было сосредоточить на себе его особенное внимание; размышляя над тем обстоятельством, что к славянскому народу должно было идти с греческими книгами, он мог внезапно поразиться его несообразности, и таким образом могла осенить его ум великая мысль о славянской грамоте. Так можно гадать, но так ли действительно было, это уж, конечно, останется для нас неизвестным.

Выше, разбирая известие одного из наших Житий о русских Евангелии и Псалтири, найденных Константином в Корсуни, мы привели мнение Шафарика, что известие не должно считать позднейшею вставкой, а только позднейшим искажением и что вместо русских должно разуметь Евангелие и Псалтирь готские. Если считать это мнение, как мы со своей стороны считаем его, заслуживающим полного вероятия, то готской грамоте мы должны были бы приписать чрезвычайно важную, то есть чрезвычайно благодетельную роль в истории появления на свет нашей славянской грамоты. Христианский мир IX века, вопреки учению тогдашних латинян и греков, славил Бога вовсе не тремя только языками; кроме евреев крещеных и самих латинян, с греками имели христианское богослужение на своих собственных языках сирияне, арабы, копты, армяне и грузины. Но пример всех этих поименованных сейчас народов едва ли мог принести какую-нибудь пользу славянам, то есть пример этот едва ли мог вспоминаться Константином и был в состоянии озарить его голову мыслью, что славянам должно быть дано богослужение также на их собственном языке. Латиняне и греки тогдашнего времени очень хорошо знали, что христианское богослужение существует не на трех только языках, но тем не менее проповедовали, что «три токмо суть языки, имиже в книгах достоит славити Бога». <...>

Среди приготовлений к путешествию в Моравию осенила ум Константина мысль о славянской грамоте и переводе на язык славян христианского богослужения. Но в деле этом еще не одно то составляет его великую заслугу, что он поспешил мысль свою привести в исполнение.

Как мы пространно и не однажды говорили выше, у греков, точно так же, как и у латинян, существовало на данный случай самое определенное учение: все новые народы, принимающие веру от греков или приступающие к церковной зависимости от них, должны славить Бога языком греческим — таково было это учение. Ни Христос, ни апостолы не заповедовали ничего подобного; это были просто позднейшие измышления человеческого эгоизма и своекорыстия, но известно, что за предания человеческие люди часто стоят гораздо крепче, чем за Божии заповеди, что посягательство на первые довольно часто встречает такую страшно ожесточенную вражду, какой не встретит противление

последним. Итак, Константин должен был опасаться, что своим неожиданным и неслыханным нововведением он вызовет против себя бурю общего гнева и негодования, что как дело его будет заклеймлено позорным именем ереси, так и себе самому он добудет то же самое, не слишком красное титло. Но буря общего благочестивого гнева еще не составляет всего, что Константин должен был ожидать себе со славянской азбукой. <...>

Таким образом, пришедши к мысли о славянской грамоте и богослужении на славянском языке, Константин прежде всего должен был остановиться и долго раздумывать над вопросом: что ему делать со своею мыслью — идти ли с нею наперекор всему или опять возвратить ее в глубину души как неуместную и дерзкую мечту? Верно то, что сердце человека, которому дано сделать нечто новое для блага своих ближних, должно исполняться чувствами величайшего счастья; но слишком тяжело человеку сделать врагами всех ближних своих, стать поносною притчею в своем родном племени, и таким образом в душе Константина должна была происходить жестокая борьба противоположных мыслей и чувств. Если чем в особенности заслужил он имя великого человека и право на вечную беспредельную благодарность от нас, славян, так именно тем, что вышел победителем из своей внутренней борьбы, то есть что в состоянии был взять верх над всеми предрассудками, нашел в себе мужество как пожертвовать всеми симпатиями, так и пойти навстречу всем страхам, и что, таким образом, мысль не осталась в нем мыслью. Как Константин в происходившей в нем борьбе противоположных мыслей и чувств защищал и к благу славян успел защитить пред собою свое великое решение стать их истинным просветителем, это мы увидим после, когда будем говорить о его прениях с латинскими порицателями его дела.

Так как Константин намеревался ввести в Моравии славянское богослужение тотчас же, как будет готов перевод книг, не дожидаясь того, когда научит славянской грамоте и приготовит к священству способных людей, набранных между самими моравами; так как, далее, труд в возможно скором времени распространить грамоту между целым народом физически невозможен был для двух человек, то есть для Константина с Мефодием, то по всему этому Константин прежде всего озаботился найти в спутники себе людей, знающих славянский язык. Не знаем, сколь много успел Константин набрать себе этих спутников, имевших быть ему помощниками; очень может быть, что гораздо более, чем сколько нам известно, но во всяком случае Климент, Наум, Ангиларий, Савва и Лаврентий, то есть пятеро из числа избранных и известных по именам учеников Константина, принадлежат к числу именно указанных его спутников. О Клименте положительно известно, что он был не моравлянин, а болгарин. Но не может подлежать сомнению, что остальные четверо были также не моравляне. Во-первых, самым ясным образом доказывается это их греческими именами; будь они моравляне, христианские имена их были бы не греческие, а необходимо латинские, потому что в Моравии до Константина духовенство было латинское. Во-вторых, что они были не моравляне, это слишком ясно видно из того, что когда в Моравии было воздвигнуто гонение на греческое Православие и славянский язык, они поспешили удалиться из страны. Если бы Моравия была их родиной, они, несмотря на гонения, остались

бы в ней, как остался в ней Горазд. Один из этих пятерых, Климент, как мы сказали, был родом болгарский славянин; но славяне или греки были остальные четверо? Более чем вероятно, что, подобно Клименту, не только все они, но вообще и все другие, неизвестные в настоящее время по именам сотрудники Константина были славяне, а не греки. Крещеные греческие славяне должны были с неописаным восторгом приветствовать его мысль о славянском богослужении, а поэтому с величайшей готовностью и наперерыв друг перед другом должны были предлагать ему и свои услуги; напротив, что касается до греков, то едва ли следует предполагать, чтобы он нашел себе сочувствие хотя между немногими отдельными лицами.

Избрав себе спутников и будущих помощников, Константин поспешил вместе с ними усердно помолиться Богу и затем начал составлять свою славянскую азбуку. Составивши азбуку, он тут же, на месте, положил начало и самому переводу, именно — он перевел до отправления в путь часть богослужебного выбора чтений из Евангелия и Апостола (первое в этом выборе Евангелие есть пасхальное, и первые слова Константинова перевода были: «Искони бе Слово, и Слово бе у Бога, и Бог бе Слово»). Готова была славянская азбука, счастливо был сделан опыт самого перевода; по-видимому, Константину оставалось только поспешить в Моравию, чтобы возвестить людям, сидевшим во тьме и сени латинского языка немецких священников, ожидавшую их великую радость... Но мы забыли еще о греках. Не может подлежать никакому сомнению, что ни императору с патриархом, ни вообще властям Константин не объявлял о своем намерении прежде, чем ни привел его в исполнение. Дело было таково, что вообще и в каком бы то ни было случае Константин не мог обещать себе успеха слишком наверное; никак не мог он поручиться, что тем или иным образом, но успеет получить от властей согласие на свое предприятие, а таким образом ему приходилось только положиться на Божию помощь. Но объявить о намерении прежде его выполнения — значило бы то же, что прямо отказаться от всякого успеха; власти, разумеется, не одобрили бы намерения и воспротивились бы его выполнению, и Константину оставалось бы только покориться их приговору. Константин никоим образом не мог объявлять о своем намерении, прежде чем не привел его в исполнение. Но вот, наконец, он мог принести перед своею властью уже написанные славянские книги. Прежде чем он решился на это, какие он должен был пережить тревожные минуты! Благодатная мысль, озарившая его ум, была приведена им в исполнение: книги для народа, прежде не знавшего их, были им созданы. Но какая судьба ожидает эти дорогие ему книги: дозволено ли будет передать их народу, для которого они созданы, или, напротив,— увы! — напрасно посетила его великая мысль, книги приказано будет предать огню и быть всему, как было прежде? Пусть вообразит себе читатель ощущения Константина в этом положении неизвестности между страхом и надеждою, между жизнью и смертью.

Счастье было на стороне Константина и славян: изобретенные одним для других книги были дозволены... Каким образом успел Константин склонить свои власти к такому неслыханному и небывалому поступку (разумеем — в позднейшее время), как допущение книг богослужебных на другом языке, кроме греческого? Не может быть сомнения в

том, что греки очень сильно желали самым прочным образом, то есть навсегда, утвердить свою церковную власть в Моравии,— желание это само собой предполагается. <...>

Славянские книги были дозволены, и теперь-то, наконец, действительно уже не оставалось Константину ничего более, как поспешить с ними в Моравию. Расчеты вынудили греков дать свое согласие на славянское богослужение; те же расчеты требовали от них, чтобы они заявили перед моравами к этому слишком неприятному для них нововведению чувства живейшей их радости, чтобы этот великий им дар от великого мужа они представили как свой собственный усердный дар,— и к государю Моравскому Ростиславу было отправлено с Константином такое послание от лица императора: «Бог, Иже велит всякому, дабы в разум истинный пришли и на больший ся чин подвиг, виде веру твою и совет сотвори ныне в наша лета, явле букви в ваш язык, его же не ведано было, токмо в первaа лета, да и вы причтетеся велицех языцех, иже славят Бога своим языком, и ту ти послахом того емуж Бог яви мужа благочестива и благоверна, книжна зело философа и се приим дар болий и честней паче всякого злата и сребра и каменна драгаго и богатства преходяща, подвигни с ним присно утвердити речь и всем сердцем взискати Бога и общаго спасения не отрини, но вся подвигни не ленитися, но ятися по истины путь, да и ты, привед я подвигом своим в Божий разум, приимеши свою мзду в того место и в сей век и в будущий, за вся ты душа, хотящаа веровати в Христос Бог наш, от ныне до кончины и память свою оставляа прочим родом, подобно великому Коньстянтину царю»[40].

Если автор Жития не позволил себе некоторой вольности с подлинником этой императорской эпистолии, то желанию угодить моравам греки слишком усердно жертвовали своими истинными чувствами. <...>

Таким образом (курсив ред.), моравы, обращаясь к грекам с просьбою о духовенстве, желали, чтобы им дан был свой епископ. Отчего же греки не удовлетворили этого последнего желания? Может быть, они прежде хотели хорошенько осмотреться на месте и потом уже решить относительно такого важного действия, как поставление особого епископа. Далее, очень может быть, что, подобно немцам, они находили нерасчетливым удовлетворять названной просьбе моравов: имея своего собственного епископа, моравы, во-первых, чувствовали бы себя гораздо независимее от Константинополя, чем без епископа; и при этом удовлетворенные в одном желании скоро бы могли предъявить другое — вместо епископа запросить митрополита; во-вторых, имея своего собственного епископа, моравы обогащали бы главным образом казну этого последнего, а не патриарха Константинопольского. <...>

Весть, что священники греческие принесут славянскую грамоту и славянские богослужебные книги, нет сомнения, успела далеко упредить собственное прибытие Константина в Моравию. С каким же нетерпением должны были ожидать моравы людей, которые имели принести им столько нежданные и столько дорогие для них сокровища! Какую потом этим людям, шедшим отверзти уши глухим и делать ясным язык гугнивых, они должны были учинить восторженную встречу! В одной латинской переделке Паннонского Константинова Жития читаем[41], что когда наше посольство достигло моравских пределов, то жители в сво-

ей великой радости вышли к нему в сретение за стены города. Автор переделки прибавляет это известие сам от себя; но он прибавляет в этом случае то, что должно быть подразумеваемо самым необходимым образом. Действительно надлежит думать, что въезд Константина в столичный город Моравии совершился не иначе, как посредством самых шумных и радостных приветствий целого населения, и что день этот был для всех самым светлым праздником.

Константин принес в Моравию славянские книги. Но это небольшое в самой Греции сделанное начало перевода, так сказать, должно было только предварительно удовлетворить моравов, что несомненно будут они иметь книги и богослужение на своем родном языке. Чтобы действительно начать богослужение на славянском языке, оставалось еще очень много труда, и Константин по прибытии в Моравию немедленно должен был приступить к этому дальнейшему переводу необходимых церковных книг. Само собою разумеется, что моравы с величайшим нетерпением ожидали того дня, когда услышат они в церкви вместо слышанной доселе чужой речи свою собственную, родную; а потому и Константин приступил к своему труду с величайшим усердием. По всей вероятности, для возможно большего ускорения дела он заставил больше или меньше помогать себе и Мефодия с прочими своими спутниками; но как бы то ни было, только в самом непродолжительном времени он перевел весь церковный чин или все вообще чинопоследования как общего христианского богослужения, так и необходимых частных христианских треб. Знаменитыми должны быть для нас тот храм, в котором Константин впервые совершил служение, и тот день, в который случилось это великое для славянского мира событие; к сожалению, ни тот, ни другой неизвестны. По мнению лучших исследователей[42], столицею древних моравских князей был Велеград на реке Мораве, что теперь Градиш, или Градишт, находящийся в 65 верстах к юго-востоку от Оломуца; если это верно, то в Велеграде совершил Константин и свой перевод. Но в этом ли также городе имело место и торжество первого славянского богослужения? Не имея данных ни для какого положительного ответа, не можем пройти здесь молчанием одного сохранившегося до нас официального акта, относящегося к деятельности Константина в Моравии. Акт этот есть дарственная запись Ростислава оломуцкой церкви святого Петра в день освящения ее Константином[43]. Вот она в переводе с латинского: «Ростиц князь в день освящения церкви святого Петра, совершаемого почтенным братом Кириллом, предал всех людей замка и города по самый берег р. Моравы» (Ratis dux (Moraviae) tradidit in die consecrationis ecclesiae sancti Petri in Olomutici per venerabilem Fratrem Kyrillum omnes homines castelli et civitatis (Olomuc) ad ripam usque Moraue fluvii).

Есть известие, что оломуцкая церковь святого Петра существовала еще при предшественнике Ростиславовом — Моймире[44], и, следовательно, в приведенной церковной записи должно разуметь не освящение церкви в собственном смысле, а что-нибудь другое. Спрашивается теперь: что же это именно такое? Издатели акта относят его к 863 г. Так как, по нашим расчетам, в 863 г. только изобретена была Константином азбука, но еще не был совершен перевод книг, то мы думаем, что в назначении года издатели ошибаются. Но если они выставляют такой год, когда Константина еще и не было в Моравии или по крайней

мере когда не были еще здесь переведены им книги, то дают знать, что относят акт к самому раннему времени пребывания Константина в Моравии. Если можем быть уверены, что издатели сделали такое заключение с достаточной основательностью, то невольно рождается вопрос, не указывает ли нам запись на первое богослужение, совершенное Константином в Моравии на славянском языке. По отношению к церкви, что могло быть названо в несобственном смысле ее освящения, как не первое богослужение в ней по греческому обряду вместо римского и на славянском языке вместо латинского? Но это освящение церкви не есть только местное торжество для самой церкви, напротив, торжество для целого народа, что доказывается тем, что для присутствования на нем приезжает из Велеграда в Оломуц сам князь; следовательно, если это освящение церкви есть действительно не что иное, как первое славянское богослужение в ней, то оно есть вместе первое славянское богослужение Константина в Моравии. На вопрос: что могло побудить совершить Константина первое свое богослужение не в Велеграде, а в Оломуце? — самый вероятный ответ тот, что Константин окончил свой труд перевода незадолго до праздника святого Петра и что, намереваясь совершить первое богослужение в день его памяти, он хотел также избрать и местом богослужения церковь, посвященную его имени. Итак, если справедливо, что наша запись относится к самому первому пребыванию Константина в Моравии, то можно с некоторою вероятностью предполагать, что местом первого богослужения славянского был оломуцкий храм святого Петра, а днем его — день памяти этого апостола, или 29 июня не 863, а, как увидим ниже, 864 года. Впрочем, говоря откровенно, можем предполагать это не более, как именно только с некоторой вероятностью, потому что очень может быть дано делу и другое объяснение, гораздо более простое: разумеется то, что оломуцкая церковь святого Петра, существовавшая при Моймире, могла сгореть и снова быть поправленною и что, таким образом, освящение церкви могло быть вовсе не первым в ней славянским богослужением, а освящением в полном собственном смысле этого слова. Что касается самой записи, то стоящее в ней имя Кирилла, которое Константин принял незадолго до смерти, не должно возбуждать сомнений относительно ее подлинности. Дело в том, что до нас дошел не автограф, а снимок с автографа, по причине ветхости последней сделанный в 1061 г.; при переписке и могло быть заменено имя Константина именем Кирилла вследствие большой употребительности в то время этого второго имени. <...>

Как только Константин совершил свой перевод, так должен был «братися» за него с латинскими архиереями и священниками. Как же представлять себе это дело в его подробностях? После того, как моравы отложились от греков и снова возвратились к папе, что, как мы говорили, случилось почти тотчас после того, как первые прислали было к ним свое духовенство, Константин стал в Моравии греческим пришельцем, действующим в епархии одного из латинских архиереев. Дело, для которого он остался в Моравии и после отложения от греков, то есть его намерение дать моравам богослужение на их собственном языке, было в высшей степени ненавистно для всего латинского духовенства, и будь так, что латинский архиерей, которому папа поручил в заведование Моравию после того, как она возвращена была от гре-

ков, имел полную власть поступать по своей воле, то он не позволил бы Константину с его славянскими книгами оставаться в своей епархии и одного лишнего дня. Но необходимость заставила папу дозволить моравам удержать у себя Константина с его славянскими книгами, и, таким образом, духовенство латинское, которому непосредственно была подведома Моравия, могло, сколько ему было угодно, злобствовать, но должно было не препятствовать Константину вводить в стране славянское богослужение. Что же оставалось духовенству латинскому предпринять против этого ненавистного пришельца, против которого оно лишено было возможности употребить силу? Единственное, что оставалось духовенству, это попытаться посредством силы убеждений и увещаний отклонить его от ненавистного предприятия; и вот таким-то образом митрополит Венецианский, которому была отдана в ведение Моравия, и собрал на Константина собор архиереев, священников и ученых людей. Подробности прений этого собора с Константином автор Жития не сообщает; но, во-первых, само собою подразумевается, что употреблены были все доводы, какие только могли быть придуманы, чтобы представить Константину богопротивность и пагубность его предприятия, а во-вторых, прямое известие Жития, что на соборе, кроме архиереев и священников, были еще «ученицы», то есть ученые, дает знать, что духовенство позаботилось о том, чтобы быть на соборе во всеоружии своих аргументов; более чем вероятно, что между прочим пытались подействовать на Константина и тем доводом, что ему — греку позорно быть начинателем такого дела, которое варваров-славов должно поставить на одну ногу с его соотечественниками и проч. Где имел место этот собор, то есть был ли Константин призываем в Венецию или в какое-нибудь другое место в диоцезе Венецианского митрополита, или архиереев, священников и ученых митрополит присылал для увещания Константина в самую Моравию? Мы думаем, что последнее, потому что если бы Константин предпринимал путешествие из Моравии, то об этом сказал бы автор Жития.

В чем должны были состоять дальнейшие труды Константина в Моравии после перевода книг, это совершенно ясно определялось тою целью, для которой он остался в стране. Когда моравы требовали у папы, чтобы им дозволено было удержать у себя Константина с его славянскими книгами, то папа, весьма вероятно, не придавал этому слишком большого значения. Оставляя у себя Константина со славянскими книгами, моравы в то же время приняли и присланных папою итальянских священников с их латинским богослужением; чем же могла кончиться история славянских книг? Папа, по всей вероятности, рассуждал, что она не кончится ничем серьезным; не будучи введено в постоянное и повсеместное употребление, а будучи совершаемо только в очень немногих местностях страны и в большей части этих местностей раза по два, по три в год, славянское богослужение,— так мог думать папа,— недолго продержится в неравной борьбе с латинским и скоро придет у моравов в полное забвение, как минутная прихоть. Рассчитывая на постоянное и старательное противодействие славянскому богослужению со стороны латинского духовенства и на его собственные меры, которые ему было легко принять против него впоследствии, папа мог надеяться на указанный исход дела с большой уверенностью. Но совсем не так рассуждать и совсем не на это надеяться

должны были моравы и Константин. Устранить совершенно богослужение латинское и навсегда водворить богослужение славянское, совершенно освободиться от того или другого духовенства иноземного и навсегда приобрести духовенство свое собственное, национальное — вот чего должны были желать и добиваться моравы и вот что должен был поставить целью своей деятельности Константин. Что же именно для всего этого было нужно? Очевидно, было нужно, чтобы Константин положил первое начало тому, что могло само собою продолжаться, будучи однажды вызвано, но что не могло само собою явиться впервые, то есть нужно было, чтобы Константин завел и учредил у моравов их собственное национальное духовенство. И вот этому главнейшим образом и была посвящена деятельность Константина в Моравии во время трехлетнего в ней пребывания. Немедленно после окончания перевода богослужебных книг Ростислав собрал Константину учеников, которых и начал учить последний, приготовлять в будущие собственные пастыри Моравии. Что касается до самого приготовления, то в Житии Константина говорится следующее: «И научи соучеников утрении и годинам (т. е. часам), обеднии («обеднице»), и вечернии, и повечерници и тайным службы (литургии)», то есть говорится, что Константин научил своих учеников совершению полного круга дневных церковных служб. По-видимому, тут сказано слишком мало; но действительно нужно думать, что дело было таким образом.

Прежде всего, не следует представлять себе, будто набраны были в ученики Константину семилетние или восьмилетние дети; во-первых, рассуждая априорно, дети никак и не могли быть набраны — это по той простой причине, что необыкновенно долго пришлось бы дожидаться их посвящения; во-вторых, что и на самом деле набраны были не дети, а люди взрослые, это несомненно доказывается тем, что после своего непродолжительного приготовления они могли быть произведены на церковные степени. Но если были набраны не дети, а люди взрослые, то, каково само собою очевидно, всего естественнее было набирать таких, которых не нужно было готовить столько же, сколь нужно было приготовлять детей, то есть всего естественнее было набрать таких взрослых людей, которые уже предварительно имели образование, нужное для священников. Вопрос, разумеется, в том, можно ли было найти таких людей в Моравии. Житие Мефодиево отвечает нам на этот вопрос утвердительно. О Горазде, которого Мефодий перед смертью назначил в свои преемники на Моравский архиепископский престол, Житие говорит, что он «добре научен был в латинские книги». Это значит, что Горазд имел очень хорошее по-тогдашнему научное образование. Но это образование по латинским книгам было получено Гораздом не от Константина, а прежде всего от латинских учителей, и Горазд взят к Константину, уже будучи человеком образованным. Таким образом, если мы несомненно знаем, что один из моравлян, которых Константин должен был приготовить во священники, был человек хорошо образованный, то нет никакого основания отвергать, что были людьми более или менее образованными и все остальные. Книжное и научное образование в Моравии IX века! На первый взгляд, конечно, это покажется очень странным. Но мы говорим не про множество процветающих училищ, а про то, что могло найтись в Моравии десятка полтора человек, имевших тогдашнее научное образование. Это последнее действительно

было очень возможно. Между немецкими священниками моравов, нет сомнения, постоянно было хотя небольшое количество таких, которые были способны и желали заниматься образованием юношества, но само собой ясно, что даже от каких-нибудь двух-трех учителей очень могло быть получаемо людей образованных на каждую генерацию человек по шести, по восьми. Из всего сказанного следует, что ответ, который дает Житие, заслуживает полной веры, то есть что дело действительно было так, как представляет его Житие. Князь Моравский имел возможность позаботиться набрать Константину людей, не только знакомых с первыми начатками христианства, но и получивших более или менее удовлетворительное книжное образование; но если так, то Константин действительно не имел нужды проходить с ними полного курса ученья, начатого с самых азов, а должен был только заняться специальным подготовлением их к священству. Что же такое значит, что он научил своих учеников утрене, вечерне, повечернице и проч.? Образ выражения Жития напоминает тот способ учения, который был употребителен в нашей старой малограмотной Руси, то есть что как будто Константин научил своих учеников читать или, собственно, не столько научил читать, сколько заставил заучить некоторые нужные им книги. Но, разумеется, не может подлежать сомнению, что дело было вовсе не так. Если автор Жития не говорит нам, что Константин прежде всего научил своих учеников своей новой азбуке,— и научил, само собою разумеется, так, что они могли читать не какие-нибудь только одни, а вообще всякие написанные ею книги и проч.,— то, конечно, это должно быть подразумеваемо само собой. <...>

Славянские книги Константина были переводом греческих книг, и церковные службы, в них находившиеся, были не латинского, а греческого обряда; поэтому Константин должен был преподать своим ученикам греческий церковный устав, должен был научить правильному совершению всех обрядовых действий, входящих в состав греческих церковных служб,— греческому церковному пению, греческому способу возглашения ектений и т. д., вообще должен был достигнуть со своими учениками того, чтобы впоследствии они могли совершать богослужение по его славянским книгам вполне и во всех отношениях правильно без всякого стороннего руководства. Так, в этом сейчас указанном приготовлении имели нужду будущие моравские священники, и его именно должен был дать им Константин. Но если только это собственно было необходимо, то еще не следует думать, чтобы Константин только этим одним и ограничился. Это было необходимо, но Константин был в состоянии сделать гораздо более того, что было необходимо, и нет сомнения, что он действительно расширил свою задачу от пределов необходимого в действительности до пределов возможного для него самого. Ученики Константина, будущие моравские священники, как мы говорили выше, были люди, имевшие научное образование; но, во-первых, в то время просвещение стояло в Греции на гораздо высшей степени, чем в Италии и Германии; во-вторых, между самими греками немного было знаменитых своею ученостью людей, как Константин. Отсюда следует, что как бы ни хороши были прежние наставники учеников Константина, во всяком случае они не могли дать именно такого образования, чтобы ничего не оставалось им более слышать и заимствовать от последнего. Как ни хороши были прежние наставники, но во всяком

случае по отношению к Константину они никак не могли быть более того, что, например, наставники гимназий по отношению к наставникам университетов, то есть наставники средних учебных заведений по отношению к наставникам высших. Таким образом, несмотря на то, что ученики Константина были уже люди образованные, он снова мог прочесть им полный курс наук; последние были изучены ими,— выразимся тем же понятным подобием,— в объеме гимназической или семинарской программы, Константин мог преподать их в объеме программы университетской или академической. Но если это было возможно для Константина, то нет сомнения, что это и было им сделано. Само собою разумеется, что при этом новом прохождении курса наук главную заботу Константина должно было составлять то, чтобы по возможности восполнить богословское образование будущих пастырей. Ни Жития, ни другие древние сказания не сообщают нам никаких известий об этих моравских учениках Константина, за исключением одного из них, Горазда, и мы не можем сказать, все ли они, подобно этому последнему, вышли людьми, достойными своего учителя, но, зная самого Константина, можем с полною уверенностью сказать, что для этого все было сделано им самим, что требовалось с его собственной стороны.

Перевод греческих богослужебных книг и приготовление имевших служить по этим книгам священников были главными делами, которым посвящены были труды Константина во время трехлетнего пребывания в Моравии. Это были дела необходимые, потому что дать моравам славянское богослужение, что было целью Константинова путешествия, именно и значило дать им славянские книги и священников, умеющих служить по этим книгам. Но Константин был не из числа тех, которые ограничиваются одним необходимым; как всегда прежде, так и здесь он хотел делать не только то, что было от него необходимо, но и то, что было для него возможно. В избранном меньшинстве моравского народа, как замечали мы выше, могли найтись люди, подобные Горазду, то есть люди, «добре сведущие латинские книги» или, что то же, научным образом и хорошо образованные; но недавно крещенное большинство представляло из себя совсем иное: оно было таково же, как большинство наших предков в век знаменитого ученостью митрополита Илариона, то есть в большинстве этом моравы были еще двоеверцами, полухристианами и полуязычниками, и более последнее, чем первое. Главной причиной этого было обстоятельство, не лежавшее ни на чьей ответственности, именно то обстоятельство, что у моравов слишком еще недавно было введено христианство: как ни будь ревностны просветители известного народа, но во всяком случае состояние двоеверия есть необходимая переходная ступень от одной веры к другой. Но отчасти вина лежала и на самих просветителях моравского народа. Если в меньшинстве немецких священников, живших и действовавших в Моравии, находились люди способные и старавшиеся внести в страну свет даже научного образования, то никак нельзя сказать того же о большинстве. Это большинство, будучи совершенно чуждо народу, вело себя так, как и всегда и везде ведут чужие люди, то есть оно главным образом заботилось о самом себе, а не о находившемся на его попечении народе; ему нужно было, чтобы исправно была доставляема ему десятина, а затем будь чем знаешь и хочешь. Полухристианские моравы еще продолжали усердно творить жертвы по своему первому,

то есть языческому, обряду, продолжали так же беззаконно жить с многими женами и так же беззаконно разводиться с ними, как было при язычестве, но пастыри, получая свои оброки, не воспрещали им ни того, ни другого. Такое слишком неудовлетворительное положение дел в христианской Моравии, найденное Константином, как и естественно было ожидать, пробудило всю его ревность и возложило на него еще новую заботу, кроме тех, которые он сам принял на себя, то есть заботу о том, чтобы не только просветить моравов славянскою грамотою, но и о том, чтобы подвинуть их просвещение христианскою верою. Так как остатки язычества продолжали держаться в народе, с одной стороны, от давней к нему привычки, а с другой, от нерадения и поблажки священников, то и Константин, с одной стороны, сам непосредственно вступил в борьбу с закоренелой привязанностью народа к язычеству, а с другой стороны, обличениями и увещаниями старался пробудить большую ревность к своему пастырскому долгу в моравских священниках. Сколь велики были успехи Константина на этом особом поприще деятельности? Автор Жития ничего не отвечает на наш вопрос и, без сомнения, потому, что велики или малы были успехи, дело во всяком случае было не из числа легко наблюдаемых, и трудно было сказать о нем что-нибудь положительное. Мы не знаем, сколько оставалось у Константина свободного времени от его необходимых трудов, то есть перевода книг и приготовления будущих священников; если времени этого было довольно, то нет сомнения, что и успехи его личной апостольской проповеди к народу были более или менее значительны, что вследствие его увещаний покинуто было почитание очень многих священных рощ и колодезей; напротив, если свободного времени в его распоряжении было слишком мало, то само собой разумеется, что, несмотря на все свое желание, он не мог сделать слишком многого. Что касается до латинских священников Моравии, которых обличал Константин за их постыдное нерадение о своих пасомых и в которых старался пробудить сознание своих обязанностей, то, конечно, обличительные речи чуждого пришельца и ненавистного им нововводителя более раздражали их, чем возбуждали к деятельности. Худо было нерадение латинских священников Моравии; но, с другой стороны, и усердие большинства из них также было не лучше, и Константину приходилось бороться не только с первым, но и с последним. Если человека несведущего будет учить невежда, то следствие будет самое печальное, именно — выйдет то, что взамен одних вздоров и нелепостей будут набиты в голову ученика другие, не лучшие вздоры и нелепости. Но так как большинство латинского духовенства моравов было весьма невежественно, то его усердие к научению народа и сопровождалось указанным печальным следствием. Головы моравов полны были славянских языческих суеверий, а головы их учителей не менее полны были народных суеверий немецких или итальянских, смотря по тому, к какой народности они принадлежали, и, думая наставлять моравов в вере христианской, они преподавали им под именем истин веры вздор своего суеверия. Латинские священники, говорит Житие Константина, между прочим учили, что «под землею живут человецы велеглавы» (большеголовы), что «весь гад диавола тварь есть» и «кто убиет змию», тот «избудет» за это «девяти грехов», что если кто убьет человека, то должен три месяца пить из деревянной чаши, а к стеклянной не прикасаться[45]. Как видит чи-

татель, тут представлен небольшой отрывок одного из тех первобытных цельных миросозерцаний, которое вырабатывает себе каждый народ, и нет сомнения, что учители моравов не ограничивались немногими отдельными своими верованиями, а усердствовали передать ученикам всю систему этих своих верований, насколько она успела сохраниться у них среди новых христианских понятий. Так, с этими-то нелепостями суеверия немецкого или итальянского, которыми священники моравские думали заменить в головах народа суеверие славянское, должен был бороться Константин. «Все же се, яко терние посек, словесным огнем попали»[46],— говорит автор Жития об успехе борьбы. Но мы в этом случае никак не можем дать веры его словам. Мог Константин очень много раз посрамить и обличить латинских священников, но чтобы он заставил их отказаться от своих суеверий или отвратить от их проповеди народ, это совершенно невозможно: суеверия и любовь к ним не искореняются так скоро. <...>

Итак, Константин сделал для моравов все, что нужно было сделать. Если читатель хочет надлежащим образом оценить эту его заслугу перед моравами, то не должен забывать, среди какой обстановки приходилось совершать ему свои труды. Не имея возможности изгнать его из Моравии или прямо запретить его славянский перевод, латинское духовенство делало попытки отклонить его от ненавистного нововведения силою убеждений, но попытки оказались совершенно напрасными. Что же должно было следовать после этого? После этого латинское духовенство, которому предстояло в непродолжительном будущем отказаться от Моравии, должно было почувствовать к нему непримиримую ненависть. Таким образом, непрестанные заявления ненависти, постоянные мелкие и крупные оскорбления, непрерывные козни и интриги — вот обстановка, среди которой должен был Константин провести свои три с половиной года в Моравии. У многих ли хватит охоты и решительности на то, чтобы добровольно подвергать себя подобной невыносимой пытке? Но у Константина хватило их; он вовсе не поспешил оставить Моравию, как бы это сделал на его месте другой, а ради блага других пожертвовал самим собою.

После того, как Константин приготовил своих учеников, оставалось посвятить их, и он отправился с ними к епископу, которому была подведома Моравия. Как кажется, сам он покидал при этом Моравию окончательно, не имея намерения снова воротиться в нее с посвященными учениками. По крайней мере так заставляет думать автор Жития; в своем дальнейшем рассказе о пребывании Константина у Паннонского князя Коцела он выражается о прощании Константина с этим последним, а вместе и с Ростиславом Моравским как о последнем, окончательном прощании, именно — он оканчивает свой рассказ: «Не взят же (Константин) ни от Ростислава, ни от Кочела ни злата, ни сребра, ни инныя вещи, положи же евангельское слово без пища (без мзды), токмо пленникы испрошь от обою девяти сот, и отпусти я»[47]. Если это действительно было так, то следует, что Константин имел в виду, после того, как посвятит моравам священников, отправиться с проповедью Евангелия и со своими славянскими книгами в другие славянские страны. У моравов дело оставалось бы несколько недоконченным: имея собственных священников, они оставались бы при чужом епископе. Но так как хлопотать об епископе они могли и сами собою, без содействия

Константинова, то последнему оставаться у них для этого значило понапрасну терять свое дорогое время. Нельзя не пожалеть, что автор Жития ничего не говорит нам, как моравы расстались с Константином: нет сомнения, что прощание народа с его величайшим благодетелем было до последней степени трогательным.

Из Моравии в Италию, где находилась кафедра тогдашнего Моравского епископа, Константину, было две дороги: или через немецкую Баварию, или через славянскую Паннонию. Очень может быть, что он опасался ненависти немецких епископов, которые могли поступить с ним так же самоуправно, как впоследствии поступили с Мефодием, то есть схватить и отправить куда-нибудь в заточение; правда, что в Паннонии были те же немецкие епископы, но здесь в случае опасности он мог надеяться избежать плена с помощью здешнего славянского князя. Этот славянский Паннонский князь, через владения которого Константин отправился в Италию, был Коцел, сын Привинны. Столицей его был Мозебург, или Мосбург, при впадении реки Салы в Блатенское, по-нынешнему испорченному, Платтенское, озеро (на юго-западной стороне этого последнего), а владения обнимали западную часть нижней, или задунайской, Паннонии, то есть юго-западный угол теперешней Венгрии. Отец Коцела, Привинна, был удельный Моравский князь; но, будучи изгнан из Моравии Моймиром, он удалился к немцам, от которых и получил сначала во временное, а потом в наследственное владение сейчас названную нами область Паннонии. Пришедши к немцам язычником, Привинна вместе с сыном немедленно был крещен, после чего они оба сделались ревностными христианами[48]. Большинство исследователей говорит о Ростиславе, Святополке и Коцеле как о трех, составляющих один общий неразрывный союз князьях западных славян. Но это совершенно несправедливо: последний нисколько не был в союзе с двумя первыми. Неизвестно, каковы были личные отношения князя Паннонского к князьям Моравским; так как отец Коцела, Привинна, был изгнан из Моравии предшественником Ростислава — Моймиром, так как, далее, известно о смерти Привинны, что он был убит моравами, то очень может быть, что и сама по себе между одним и другими князьями господствовала более или менее сильная вражда. Но во всяком случае Коцел не мог быть в союзе с Ростиславом и Святополком по условиям своего положения. Он не был природным государем своих земель, а получил их во власть от немецкого короля; будучи посажен на княженье немцами, он теми же немцами легко мог быть и прогнан с него; и поэтому, нисколько не помышляя о союзе с враждебными королю Моравскими князьями, он держал себя как верный и усердный его вассал. <...>

Князья Моравские вели ожесточенную войну с немцами; может быть, они нуждались в военной помощи греков, но во всяком случае они нуждались в греческом духовенстве на место прогнанного духовенства немецкого, и они отправили посольство в Константинополь. Но никоим образом не мог присоединиться к ним князь Паннонский, потому что сделай он это, немцы немедленно прогнали бы его из его владений, притом делать этого он не имел и побуждения, то есть он имел у себя духовенство немецкое и нисколько не нуждался в духовенстве греческом. Впервые познакомился он с Константином и с его славянскими книгами, когда этот последний шел через Паннонию в Италию.

Обращаемся к этому знакомству Коцела с Константином. Славянская азбука и славянские книги были предметы столь же близкие сердцу князя Паннонского, как и князей Моравских, потому что и он был точно такой же славянин; но между тем в продолжение целых трех лет ему приходилось только знать, что славянские книги явились у его соседей, и не видеть этих книг самому. Можно представить себе мучения, которые должны были причинить ему эти близкие, но недоступные ему книги, и можно понять его величайшую радость, когда он узнал, что переводчик книг пойдет через его владения. Автор Жития ничего не говорит, но нам думается, что Константин пошел не через Баварию, а через Паннонию не только потому, что считал этот последний путь более безопасным для себя, но и потому, что получил от Коцела прямое усердное приглашение посетить его. Коцел не мог прежде нарочно пригласить к себе Константина из Моравии, потому что этого не дозволили бы ему Баварские король и митрополит; но тут просьба могла быть послана к Константину тайно от них, а посещение могло быть выдано за случайное. Как бы впрочем ни было, Коцел принял Константина с неописанною радостью и упросил его на некоторое время замедлить свое путешествие. Чего желал Коцел от Константина, что делал последний во время своей остановки у него, об этом автор Жития говорит: «И возлюби (Коцел) вельми словеньскы букви, и научися им, и въдав до пятидесять ученик учитися им»[49]. Коцел не мог ввести у себя в употребление переведенных Константином богослужебных книг, но ему могла быть нужна новоизобретенная азбука Константинова для других целей. Славяне, уже знакомые в то время с искусством письмени, не имея собственной азбуки, принуждены были употреблять одни азбуку греческую, другие латинскую, но известно, что далеко не для всех звуков славянской речи есть знаки в названных азбуках, и таким образом славянская речь была изображаема чужими буквами, как говорит Храбр, «без устроения». Так Коцел, нет сомнения, намерен был заменить настоящею славянскою азбукою Константина неудобную азбуку латинскую или по крайней мере ввести первую в совместное употребление с последней. Мы сказали, что Коцел не мог ввести у себя, подобно моравам, славянского богослужения; он, конечно, постарался списать у Константина его славянские книги если не для служенья по ним, то по крайней мере для простого чтения. Долго ли пробыл Константин у Коцела? Знать это, между прочим, потребуется нам ниже, когда мы будем решать вопрос о времени прибытия Константина в Моравию и о времени совершения им перевода. Константин никак не мог быть у Коцела слишком долго. И у него самого было впереди определенное дело, с исполнением которого он должен был торопиться, то есть посвящение моравских учеников; но главное не в этом, а в том, что слишком долго быть ему у Коцела никоим образом не было бы ему дозволено Баварскими королем и митрополитом. Константин мог оставаться у Коцела, пока его пребывание могло сохранять вид простого замедления на перепутье; но как скоро оно получило бы значение намеренной остановки с целью греко-славянской пропаганды, король и митрополит немедленно заставили бы Коцела удалить от себя ненавистного для них проповедника. Какое продолжение времени Баварские король и митрополит должны были считать за нормальную остановку и какое продолжение времени могли счесть за намеренную

остановку, мы, разумеется, не можем назначить с точностью; но во всяком случае надлежит думать, что Константин пробыл у Коцела две-три недели и никак не больше месяца. Что касается до ученья буквам Константина данных ему от Коцела паннонцев, которое, по-видимому, противоречит самому слишком краткому времени, то под ученьем тут должно разуметь не ученье грамоте людей, прежде неграмотных, а только ознакомление людей грамотных с прежде неизвестною им азбукою, а на это последнее требуется весьма немного времени.

Рассказ о пребывании Константина в Паннонии автор Жития заключает следующим: «И велику ему честь створи (Коцел), мимо проводи и не взят же (Константин) ни от Ростислава, ни от Кочела ни злата, ни сребра, ни иныя вещи, положи же евангельское слово без пища, но токмо пленникы испрошь от обою девяти сот, и отпусти я»[50]. Какие разумеются тут пленники, которым Константин испросил свободу у Ростислава и у Коцела? Моравы за несколько лет перед тем вели войну с немцами, но пленники немецкие, нет сомнения, были освобождены ими при самом заключении мира, потому что война кончилась вовсе не в их пользу. Союзниками немцев против моравов были болгары; так не остались ли невыданными пленники, захваченные у этих последних? Но, как кажется, помощь болгар немцам ограничивалась одними обещаниями, а вовсе не принимали они действительного участия в войне. Какие еще могут быть разумеемы пленники? Нам думается, что у автора, не хотевшего сказать нам дела яснее, под пленниками князя Моравского должно разуметь Коцеловых паннонцев, а под пленниками этих последних — Ростиславовых моравов и что отпущение пленников тем и другим князем было не чем иным, как их взаимным заменом. К такому предположению ведут нас пленники Коцеловы. Пленными у князя Паннонского могли быть во всяком случае только моравы, потому что он мог воевать только с ними, волей-неволей помогая против них немцам, и, таким образом, под пленниками, которые были отпущены им по просьбе Константина, во всяком случае некого больше разуметь, кроме моравов. Но если не были прежде отпущены Коцелом пленники моравские, то само собой разумеется, что не были также отпущены Ростиславом Моравским пленники паннонские. Что столько времени замедлился размен пленниками, в этом нет ничего удивительного: могли помешать этому какие-нибудь недоразумения между князьями, а могли князья даже вовсе не думать о размене, оставив своих пленных подданных на произвол их судьбы. Еще менее удивительного, что вмешался в дело Константин: и те и другие пленники были дорогие его сердцу славяне, а предположенное им при отбытии из Моравии свидание с Коцелом представляло ему прекрасный случай позаботиться о их судьбе, то есть, испросивши дозволения у одного князя, повести переговоры об их размене с другим. Если причиной замедления размена пленных были продолжавшиеся неудовольствия между князьями, то успех Константина показал бы, что ему удалось водворить между князьями мир.

После Паннонии мы находим Константина в Венеции, перед собором итальянских епископов и священников, которые истязуют его за славянские книги. Как мы говорили выше, неизвестно положительным образом, какому именно из итальянских епископов была подчинена папой Моравия после посольства к грекам; но этот суд над Константи-

ном в Венеции показывает, что Моравия принадлежала или самому Венецианскому митрополиту или одному из епископов его митрополии; то есть было или так, что Константин явился для посвящения своих учеников к самому Венецианскому митрополиту и последний созвал на него собор, или так, что он явился со своими учениками к одному из подведомых митрополиту епископов и от него был позван митрополитом на соборное состязание. Три года позволял Венецианский митрополит трудиться Константину над водворением славянского богослужения в Моравии и вдруг, когда последний явился к нему лично, собирает на него собор. Что же такое это значит? Это не значит ровно ничего особенного, а есть продолжение только того, что было в самой Моравии. Дозволенный папой славянский перевод Константина был до крайности ненавистен всему латинскому духовенству, а в числе других и более всех других был ненавистен Венецианскому митрополиту с его епископами и священниками, как лицам, у которых тут были замешаны не только духовные убеждения, но и вещественные интересы. Но так как митрополит не имел возможности прямо запретить Константину его перевода, потому что перевод дозволен был папою, то по необходимости приходилось сживать его со света иным путем, то есть путем хулений и укоризн на такое неслыханное и еретическое нововведение. И вот эти хуления и укоризны начались тотчас же, как Константин начал в Моравии свою деятельность: ему неустанно поносили его дело, увещевая отступиться от него, находившиеся в Моравии итальянские священники; к нему нарочно был прислан от митрополита для тех же обличений и увещаний целый собор епископов и ученых. Все эти старания оказались тщетными: Константин был совершенно глух и непреклонен и продолжал трудиться над своим переводом и приготовлением будущих славянских священников. Но, наконец, он сам явился перед лицо митрополита, прося посвящения своим ученикам, имевшим открыть в Моравии славянское богослужение, и митрополиту предстояло собственными руками окончательно упрочить ненавистное ему замышление. Что должен был сделать митрополит в ответ на просьбу Константина? Ему оставалось сделать последнюю решительную попытку заставить Константина отказаться от своих славянских книг. И вот созван был против «ересеводителя» великий собор.

«Собрашася на нь,— говорит автор Жития,— епископи, и попове, и чернорисцы, яко врани на сокол»[51]. В области Венецианского митрополита было до двадцати епископий[52]; если каждый из епископов привел с собою по два священника и по два монаха, то собор составился очень большой, то есть было на нем до сотни человек. «Скажи нам,— говорили Константину эти «враны»,— как это ты в нынешнее время дерзнул изобрести славянам книги и учить по ним? Посмотри на древние времена: никто не сделал тогда ничего подобного: ни апостолы, ни Римские папы, ни великие учители — Григорий Богослов, Августин, Иероним! Неужели неизвестно тебе вместе с нами, что языков, которыми достойно в Церкви славить Бога, только три: еврейский, еллинский и латинский?» Во всем этом, конечно, не было для Константина ничего нового, то есть все это, конечно, было слышано им множество раз еще в самой Моравии; таким образом, не трудясь снова, он мог бы сослаться на свои прежние ответы. Но нелепые речи были повторяемы ему целым великим собором; как же было не закипеть в груди его желанию

обличить и укорить этот собор пастырей-невежд и епископов? И он отвечал: «Вы говорите об апостолах, папе Римском, святых отцах, но вот посмотрите сначала на Бога: дождь от Него не одинаково ли идет на всех людей, и солнце от Него сияет, и ветер дышит точно так же не на всех ли? Пред Ним все равны; как же вы не стыдитесь признавать права только за тремя народами и приказывать всем остальным народам быть глухими и слепыми? Скажите мне, считаете ли вы Бога бессильным, что Он не может дать грамоты другим народам, или завистливым, что Он не хочет ее дать? Но мы знаем многие народы и кроме ваших трех, которые также имеют грамоту и славят Бога каждый своим языком; таковы суть армяне, персы, авазги, иверы, сугды, готфы и иные многие. Но если не вразумляет вас все это,— продолжал Константин,— то покоритесь по крайней мере суду Божественных, пророческих и апостольских Писаний. Давид вопиет: пойте Господеви, вся земля... да поклонится и да поет Тебе вся земля... хвалите Господа все языцы... всякое дыхание да хвалит Господа; Евангелие говорит: елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти; и еще: не о сих же молю токмо, но и о верующих чадах Божиих, и, следовательно, все имеют совершенно одинаковые права молиться Богу на своих собственных языках. Спаситель говорил в Евангелии: шедше убо научите вся языки ...шедше в мир весь проповедите Евангелие всей твари... знамения же веровавшим сия последуют: именем Моим бесы ижденут, языки возглаголют новы. Господь говорил в Евангелии,— обратил Константин свою речь к своим слушателям,— и о вас; Он говорит: горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко затворяете Царство Небесное пред человеки: вы бо не входите, ни входящих оставляете внити; и еще: горе вам, законникам, яко взясте ключ разумения: сами не внидосте, и входящим возбраняете. Послушайте апостола Павла,— снова продолжал Константин свои свидетельства,— он говорит в Послании к Коринфянам: хощу же всех вас глаголати языки, паче же да прорицаете»... и затем приводит всем известное место 1-го Послания к Коринфянам (гл. 14), где апостол требует, чтобы в собраниях церковных непонятные речи имеющих дар языков непременно были объяснены присутствующим, так как иначе не будет никакого созидания для Церкви и говорящие будут просто на «воздух глаголюще».

Итак, последняя попытка заставить Константина отказаться от своих славянских книг оказалась столько же напрасною, как и все прежние. Что же было после этого? В Житии Константина вслед за словами, что, посрамив «многими словесы» епископов, он оставил говорить, пишется кратко: «Уведев же римский папеж, посла по него»; потом говорится о пребывании Константина в Риме. Таким образом, весь ответ, который дает Житие на наш вопрос, заключается в этих немногих словах: «Уведев же римский папеж, посла по него». О чем же узнал Римский папа? Во-первых, он, разумеется, узнал, что митрополит Венецианский вместе со всем своим духовенством весьма недоброжелательно смотрит на славянские книги и что он собрал на Константина собор. Но из-за одного этого Константин еще не был приглашен папою явиться к нему самому. Папа призвал к себе Константина, чтобы посвятить его учеников. Следовательно, он, во-вторых, узнал, что митрополит Венецианский отказывает Константину в просьбе поставить моравам собственных, имеющих служить по славянским книгам священников. От кого же папа

узнал, что митрополит отказывает Константину в его просьбе? Само собой разумеется, что доносить ему об этом имели нужду те, кого касалось дело; следовательно, он узнал об этом от Константина и моравов. Итак, после собора на Константина происходило следующее: во-первых, митрополит Венецианский, не успевши убедить Константина добровольно отказаться от славянских книг, решил силою заставить его отказаться от них и не хотел посвящать приготовленных им к священству моравов; во-вторых, Константин обращался к папе с жалобою на митрополита и вследствие этой жалобы получить удовлетворение своих требований был приглашен папою в Рим.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Житие Константина Философа, нареченного Кирилла. — Кирилл и Мефодий. Собрание памятников до деятельности святых Первоучителей и Просветителей славянских племен относящихся, составляемое О. Бодянским.— «Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете» (ЧОИДР), 1863, кн. 2., отд. 3 (Далее ссылки на Житие — по этому изданию).

[2] Житие блаженного отца нашего и учителя Мефодия, Архиепископа Моравского.— ЧОИДР, 1865, кн. 1, отд. 3. (Дальнейшие ссылки на Житие в тексте — по этому изданию).

[3] Похвальное Слово блаженному Кириллу и Архиепископу Паннонскому Мефодию.— Там же, 1865, кн. 2, отд. 3, с. 2—3.

[4] Acta Sanctorum Bollandisti. Octobris, tomus Quartus, Romae, 1866, p. 123—125.

[5] Житие Мефодия, с. 4.

[6] См. Житие св. Иллариона Грузинского.— (А. Н. Муравьев). Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских. СПб., 1856, месяц ноябрь, с. 130—158.

[7] Житие Константина, с. 3—4.

[8] Там же, с. 4.

[9] Там же, с. 5.

[10] В Паннонском Житии Константина: «Царев строитель иже нарицается логофет», с. 5.— «Опекунами императора Михаила были трое: Феоктист Евнух, Варда Патриций и Мануил Магистр. Под «нарицаемым логофетом», очевидно, должен быть разумеем логофет дома Феоктист. Шлоссер называет Феоктиста «энергическим человеком и заклятым иконоборцем». — Ф. Шлоссер. Всемирная история. Переведена под ред. Н. Г. Чернышевского, т. 6. СПб., 1862, с. 12—13 (Примеч. Е. Е. Голубинского, л. 767).

[11] См. Димитрий Ростовский делает другую догадку; он говорит: «Тому логофету (Феоктисту) знаеми бяху родители Мефодиевы и Константиновы и слышав логофет о остроумии отрока посла нь, дабы учился с юным царем».— Жития святых, именуемые просто Минеи-Четьи, собранные из древних славянских, греческих и латинских писателей св. Димитрием, митрополитом Ростовским. М., 1815, 11 мая.— «Мы предполагаем думать, что Феоктист взял Константина к императору не прямо из родительского дома, а из придворного училища, потому что трудно допустить, чтобы опекун решился сделать такой важный выбор, основываясь только на чужом свидетельстве относительно остроумия, прилежного учения и других качеств юноши, а не на своем собственном в них удовлетворении; что Феоктист не был родственником отцу Константина, по крайней мере близким, видно из того, что после он сватал за Константина свою крестную дочь» (Примеч. Е. Е. Голубинского, л. 768 об.— 769).

[12] Житие Константина, с. 6.

[13] Там же, с. 134 (по списку Больших Макариевских Четьих Миней).

[14] *Шлоссер Ф.* Цит. соч. Т. 5, СПб., 1862, с. 152, 173, 194, 200.

[15] При императоре Феофиле, в 838 году, когда взята была Аморея и пострадали Аморейские мученики: их память 6 марта.

[16] *Шлоссер Ф.* Цит. соч., с. 155; *Weil G.* Geschichte der Chalifen. Bd. 2, Mannheim, 1848, S. 347.

[17] *Шлоссер Ф.* Там же.

[18] Житие Константина, с. 10.

[19] Там же, с. 104.

[20] Житие Мефодия, с. 5.

[21] *Невоструев К. И.* Записка о переводе Евангелия на славянский язык, сделанном свв. Кириллом и Мефодием.— Кирилло-Мефодиевский юбилейный сборник в па-

мять о совершившемся тысячелетии славянской письменности и христианства, изд. М. Погодиным. М., 1865, с. 223.

[22] Путешествие Амвросия Контарини. Перевод В. Семенова.— В кн.: Библиотека иностранных писателей о России. Т. I. СПб., 1836, с. 91.

[23] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Изд. 5-е, СПб., 1842—1843, т. I. Примечания, с. 34—39.

[24] В Житии Константина: «бысть же в фильсте языце дуб велий, сросся с черешнею, под ним же требы деяху, нарицающе именем Александр, женску полу не дадуше приступати к нему, ни к требам его», с. 21.

[25] Там же, с. 22.

[26] Житие Мефодия, с. 5.

[27] *Св. Димитрий,* митрополит Ростовский. Цит. соч., март.

[28] Житие Константина, с. 134.

[29] Там же, с. 4.

[30] Anonymi Salisburgensis A. 873 scriptoris. Historia conversionis earantanorum...— В кн.: *Kopitar B.* Geagolita clozianus. Vindobonae, 1836, p. LXXII—LXXVI.

[31] *Шафарик П.* Славянские Древности. Перевод с чешского О. Бодянского, изд. М. П. Погодиным. Т. 2, кн. 2. СПб., 1848, с. 289; *Palazky Fr.* Geschichte von Böhmen, grossten Theils nach Urkunden und Handschriften. Bd. 1, Prag, 1836, S. 107.

[32] *Kopitar B.* Цит. соч., p. LXXIII, col. 2.

[33] Там же.

[34] *Шафарик П.* Цит. соч., с. 308; Житие Константина, с. 23; *Palazky Fr.* Цит. соч., S. 114.

[35] *Шафарик П.* Цит. соч., с. 312.

[36] Житие Константина, с. 23.

[37] Житие Мефодия, с. 6.

[38] *Palazky Fr.* Цит. соч., S. 114.

[39] *Шафарик П.* Цит. соч., с. 296, примеч. 34.

[40] Житие Константина, с. 117.

[41] Русский перевод «Итальянской легенды» см.: Кирилло-Мефодиевский юбилейный сборник, с. 327—342.

[42] *Шафарик П.* Цит. соч., с. 317; *Palazky Fr.* Цит. соч, S. 122—123.

[43] *Erben. C. J.* Regesta Bohemiae et Moraviae. Pragae. 1855, p. 14, N 42.

[44] *Palazky Fr.* Цит. соч., S. 109.

[45] Житие Константина, с. 24.

[46] Там же.

[47] Там же, с. 25.

[48] *Шафарик П.* Цит. соч., с. 291; Добровский И. Кирилл и Мефодий — словенские Первоучители. М., 1825, § 18, с. 64—69; *Palazky Fr.* Цит. соч., S. 108; Anonimus Salisburg... p. LXXIV, col. 1.

[49] Житие Константина, с. 25.

[50] Там же.

[51] Там же.

[52] *Joannis Diaconi Veneti.* Chronicon Gradense.— G. P. Migne. Patrologiae. Serial latina. t. 139, col. 950.

(Окончание следует)